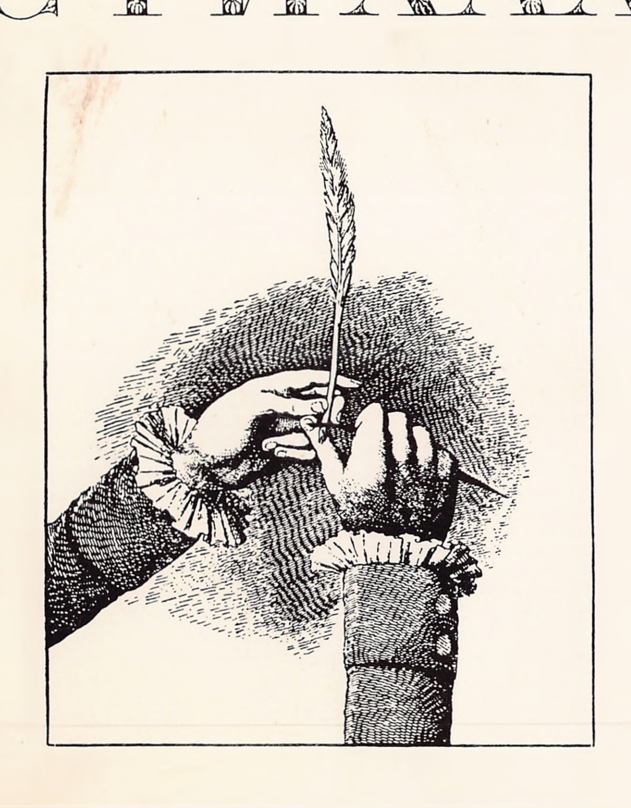
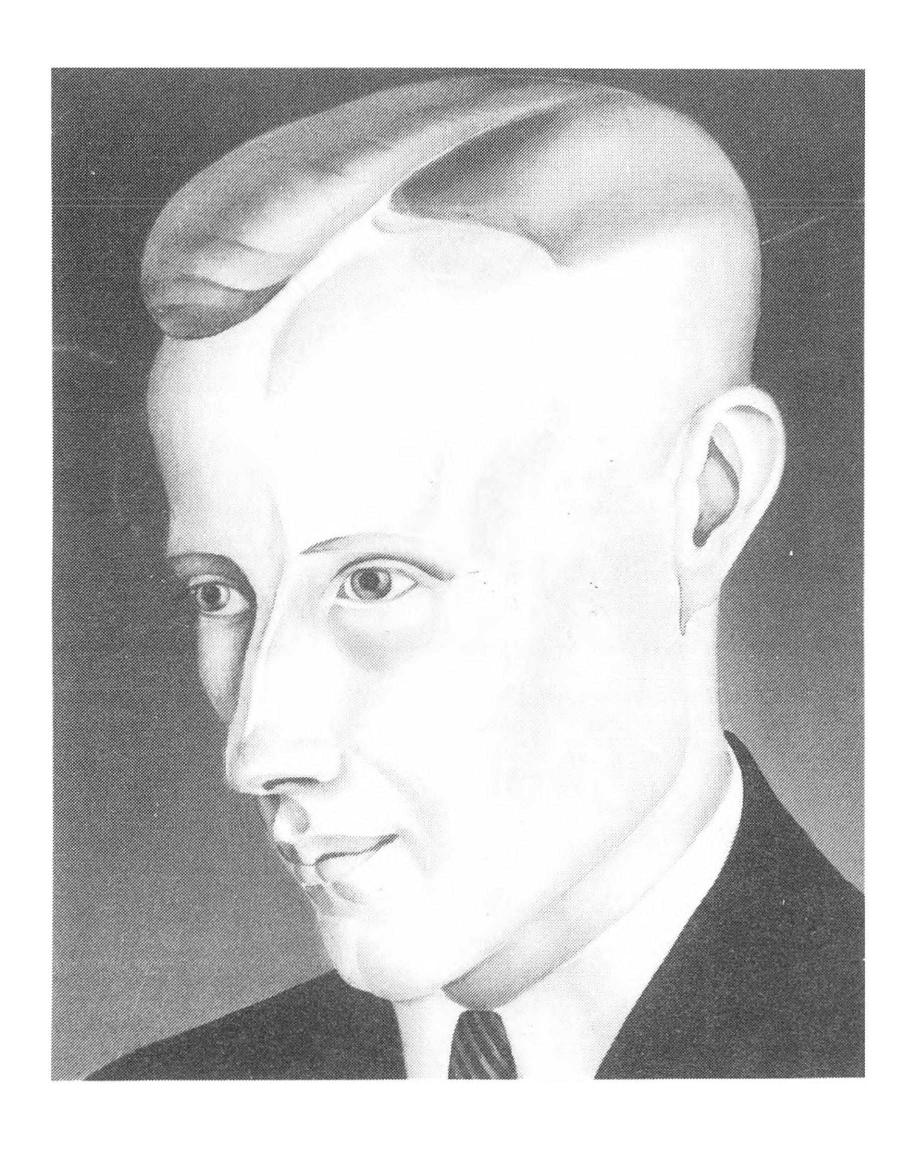
ЮРИЙ ИВАСК • ПОВЕСТЬ О СТИХАХ

ЮРИЙ ИВАСК

ПОВЕСТЬ О СТИХАХ







Юрий Иваск. Акварель работы Е. Б. фон Гершельман.
Ревель, прибл. 1938 г. (Из архива Д. Бобышева).

Юрий Иваск

ПОВЕСТЬ О СТИХАХ

Послесловие
ДМИТРИЯ БОБЫШЕВА.

RUSSICA PUBLISHERS, INC.
NEW YORK • 1987

IVASK, IURII PAVLOVICH (1907—1986)
Povest' o stikhakh. (An autobiography).
Afterword "Muza Ivaska" by **Dmitrii Bobyshev.**

Library of Congress Catalog Card Number 85-62144
ISBN: 0-89830-102-5
Cover design by **Erik Pervukhin.**
The water color portrait and the photograph of Iurii Ivask are reproduced with kind permission of Dmitrii Bobyshev.

Russica Publishers, Inc.
799 Broadway
New York, N. Y. 10003.

КРЫМ

Играть с самим собой труднее, чем с товарищами. Надо самому все выдумывать.

Говорят: голь на выдумки хитра. Одиночки — тоже. Сперва скучно, но постепенно входишь во вкус.

Мои одинокие игры начались в Крыму.

Толстая *фрелина* повязала соломенную шляпу белой вуалью и воскликнула:

— Also eine Abwechselung. . .* Мы едем в Ялту!

Она думала, что осенью там очень ветрено, но по приезде вуаль сняла за ненадобностью. Я же был разочарован. Не отсутствием ветра, а отсутствием вуали. Вуаль я тогда называл *музеем*, и на Пречистенском бульваре восторженно бормотал: „Вот тетя в *музее*" или „Какая *музейная* тетя"... Особенно нравились крапинки — черные или синие, иногда они оказывались на самом кончике носа или в другом каком-нибудь неподходящем месте, у самой ноздри: то ли это родимое пятнышко, то ли подсохшая грязца, а лицо — далекое, туманное, и оно смутно *музеется*.

Музей был, например, Румянцевский, мимо которого мы часто проходили, или Александра Третьего. Что в музее, зачем музей, этого я не знал, а все же понимал: музеи — большие дома... Но упорно твердил свое — играл.

Выдумки мои, к счастью, не поощрялись старшими, и поэтому я ими тогда не кокетничал и фантазировал както даже подпольно и вполне бескорыстно.

В Крыму игрушек не помню, может, их с собой не

---

* Итак, перемены... (нем.).

взяли, разве что классического в те времена шерстяного медвежонка, которого полагалось перед сном прижимать к сердцу. Вероятно, я слышал от кого-то: „Наш Боря спать не может без своего медведя...” — и поддался моде.

Крым едва ли поразил сам по себе — олеандрами, горами, морем и всем своим южным блеском. Но восхищенные интонации в голосах взрослых предрасполагали к игре.

— Смотрите, Ай-Петри во всей своей красе!

Я же бормотал:

— Ай-ай-ай, Петри, как тебе не стыдно — всех перерос!

Реплика отца или матери:

— Это тебе должно быть стыдно, большой мальчик, уже четыре года, а опять порешь чушь.

Какая такая была гора — не помню, но *ай, Петри* звучало и все еще звучит.

Взрослые тоже по-своему играют. Вот отец и мать выезжают верхом в горы. Очень забавляли дамы, сидевшие боком, в амазонках. Гарцевали и веселые сестры из Иванова-Вознесенска. Они часто лепетали скороговоркой:

— Бывало, у нас в *Ваннове*...

Вопреки запрету не могу скрыть восхищения:

— Мама, они в *Ваннове* всегда сидят в ванне, и весело же им!

Опять наставление:

— Большой мальчик, уже четыре года... Нет никакого *Ваннова*, а есть город Иваново-Вознесенск.

Студенческие годы, корплю над учебником Тугана-Барановского. Какая-то там была забастовка в Иваново-Вознесенске, это индустриальный район, фабрики, скука... И опять русалками засмеялись веселые сестры, плещущиеся *у нас, в Ваннове*, в ванне!

Бонны, няньки твердят хором: „Нина, смотри, вон дельфин... Сашенька, видишь?” А какой-нибудь Петя, игравший в песочные *грешники*, уже бежит, переваливаясь, к берегу и пищит: „Дефин, дефин!” А я ничего не вижу: слепну от солнечного блеска.

— Wo, Fräulein, wo?*

Наконец, и только один раз я увидел что-то, чего не помню, — прыжок, взмыв?.. Но заливало счастье открытия. Видно, радость была поистине великая, потому что

* Где, фрейляйн, где? (Нем.)

странное слово „дельфин" не было вовлечено в словесную игру. Предмет оказался существеннее имени.

Севастопольская Панорама тоже не взыграла словесно.

Уже восковые фигуры при входе *заставили* меня схватиться за мамину руку. Мы на балконе, а внизу сплошной ужас. Я даже не понял, что это панорама сражения. Множество тихих людей, бегущих, падающих, лежащих, так ужаснуло, что я отвернулся. Вот уж когда хотелось позорно залезть под юбку матери, только бы не видеть и не слышать эту тишину.

Подбрасывают и перебрасывают матросы, и мы уже на миноноске. Дядя, морской инженер, все показывает. Запомнившееся восклицание одного из взрослых:

— Как вы умещаетесь в этой крохотной столовой?

Меня же восхитило, что и с моей, с земли на аршин поднятой точки зрения кают-компания казалась игрушечной.

— Ты тогда сказал: „И мне мало́", — вспоминала мать, — и все смеялись.

Это не чушь, а остроумие, которое поощрялось, но запоминалась преимущественно чепуха.

— Помнишь, ты ездил на пони? — говаривала мать.

Но я ничего не помню.

— Тебе понравился страус...

Тоже не помню.

Через шесть лет я поступил в первый класс Флеровской гимназии. Задали домашнее сочинение: ранние воспоминания детства. Очень старался: „...шумело Черное море... оно изобилует дельфинами..." Небось не все могут так написать: изобилует! „Я часами наблюдал за их играми... Царственно высился Ай-Петри, покрытый вечными снегами". Показал матери:

— Какие там вечные снега? Ты что, слепой?

Всё из книжек, по шаблону! Но учитель словесности Родзевинчук похвалил меня за образцовое сочинение. Только и было своего, неподдельного: толстая *фрелина* надела белый *музей*, Ай-ай-ай, Петри, Ванново-ванны и с наперсток прочих впечатлений — панорама, миноноска, дельфины и молодые возбужденные голоса отца, матери, тех сестер и, пожалуй, была еще *Китевань*. Кажется, я приплясывал тогда, подпевая „ки-те-вань, ки-те-вань", и был опять укоряем за чепуху.

Я спросил мать:

— А кто такая была Китевань?

— А-а, запомнил? Как же, была Китевань, подруга Александры Львовны Толстой. Они вместе с нами жили в пансионе Шульца.

Жаль, не обыграл я тогда эти имена — Толста́я, Толсто́й. Почему не То́лстая, То́лстый? Была же у меня Толстая *фрелина.* А Китевань веселила. Она в рифму с этой песенкой:

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем в Иордань.

Знал ли я тогда эти стихи? Едва ли. Я мало что знал тогда.

Иногда смутно вспоминается чье-то радостное восклицание:

— Вот уже Байдарские ворота!

Может быть, именно с тех пор отец и мать начали играть в восхищение.

— А ты помнишь, как мы ехали на автомобиле из Севастополя в Ялту, тебя тошнило...

— Да...

А на самом деле нет! Но вдруг вылетело пробкой из бутылки:

— Тогда Толстая *фрелина* была опять в вуали, чтобы шляпу не сдуло!

— Все глупости вспоминаешь. Толстая *фрелина* была с нами, может быть, и в вуали, но это неважно даже в-пятых!

Значит, и во-первых: на самом деле что-то из этой поездки запомнилось!

„Крым навсегда остался драгоценным воспоминанием детства...” — писал удостоившийся похвалы ученик первого класса.

Ай-ай-ай, как не стыдно было врать! Воспоминания были поистине „драгоценные”, но как поглупел мальчишка с тех пор, как его обучили грамоте.

А пансион Шульца? Не там ли меня смертельно обидели? Я с незапамятных времен выпивал днем стакан молока с шоколадкой. Окунаю губы, предвкушая наслаждение, и сразу отскакиваю — молоко с сахаром. Сама Шульц строго урезонивает:

— Так у нас полагается!

Но вступилась мать:

— Не кладите ему сахара в молоко, он к этому не приучен.

Не только невкусно, но и оскорбительно, несправедливо, неприлично! Я и слов этих тогда не знал, а то чувство чуть ли не первой глубокой обиды хорошо запомнил.

Прошло лет семь-восемь. Все изменилось. С каким бы наслаждением я выпил подсахаренное молоко голодной зимой девятнадцатого года.

ЖУЧКИ

О Крыме самые ранние воспоминания. Новизна вырывала из привычных будней жизни, московской или дачной, и вовсю разыгрывалось воображение. Мало что на самом деле запомнилось, но все еще звучат те ранние заклинания, все еще слышится та чистая поэзия, вызванная предметами, которых уже не вижу. Да, не вижу ни горы, ни веселых сестер, но остались магические формулы: Ай, Петри, Ваннових-ванны.

Как-то мать сказала мне, когда мы жили в Жучках, на грюнтаталёвских дачах:

— Мне не нравится твое увлечение коровами. Пойдешь со мной на конюшню. Там благородные животные, всегда их обожала, а в детстве ездила на деревянной лошадке...

Все же я настоял на своем, и с утра отправлялся с *фрелиной* на скотный двор.

Меня защитил отец, что вообще бывало редко:

— Оставь его, может быть, захочет стать помещиком. В деревне здоровее жить, чем в городе.

Второй резон — „здоровее жить" несколько убедил мать, но о поместье она и слышать не хотела по своим особым резонам: была театралкой и считала, что мужики помещиков ненавидят и при случае спалят.

На скотном дворе — счастье, и тут уж память не изменяет мне — дайте лист бумаги, и я без труда набросаю план всего этого скотного двора, расположенного *покоем.* Во втором стойле направо — Красавица Луна — самая большая корова, рыжая. Ее почему-то не выгоняли, и она вдруг оказалась с теленком. Слева, у входа, Белянка — корова хилая, но я любил ее за доброту, хотя никакого

добра от нее не видел. Так хотелось улечься рядом с Белянкой, прижаться к ней.

— Мама, ты похожа на Белянку, а тетя Маша на Красавицу Луну!

Комплименты эти их насмешили, и они часто говорили:

— Вот с кем нас сравнивают!

От скотного двора скотья дорога к выгону обсажена плакучими ивами. Побаиваюсь быка Васьки и учусь лазать по ивам. Если Васька нападет, вскарабкаюсь на верхушку.

— А я лазать по деревьям не умею, — сказала *фрелина.* —Ты мне поможешь взобраться?

— Нет, вы уж как-нибудь сами...

Фрелина недовольна и стыдит противного *эгоиста.*

На выгоне пересчитываю коров: их двенадцать. Белянка долго смотрит неизвестно куда и вдруг неуверенно мычит, а я ей отвечаю. Нужно с шумом выдыхать воздух через ноздри, и тогда очень хорошо *получается:* между тем, другие только шевелят губами и *получается* плохо. Это особенный нечленораздельный звук, никакое там му-му, а скорее омм или умм. Тринадцатый — ненавистный бык Васька. Может быть, венские психологи сказали бы: я его к коровам ревновал! А на самом деле только боялся.

Стадо возвращается домой: идут кучей, тесно соприкасаясь боками. Походка волнообразная: странно выгибаются узенькие спины и рогатые головы, глаза синеватые, мутные. О, милые, милые, а почему именно, не знаю! Может быть, нравилось потешное величие огромных неловких животных и странное их поведение. Вдруг одна отобьется и уставится в лужу, а не пьет! Хлопнут ее бичом, а она идти не хочет. Или же внезапно вскочит сзади на другую. Меня же корили, когда я изображал эти лесбианские поползновения коров.

— Глупые животные!..

Ну, нет!

Гораздо позднее я сказал в защиту коров:

— Коровы не думают, потому что знают — думать глупо, и сие мудро...

Гете в Италии несколько раз сказал в разговоре: „Я думаю". Итальянец ему возразил: „А зачем вы дума-

ете?" Гете восхитился: „Может быть, он прав, а мне и в голову не приходило, что незачем думать!"

Мог бы поучиться и у коров...

Мне же тогда хотелось превратиться в теленка, а мать и тетка пусть будут коровами: Белянкой и Красавицей Луной.

Свинарник был продолжением коровника, но я туда не заглядывал. Кто-то сказал: „Давеча матка двух поросят сожрала..." Это несомненное, непрощаемое преступление. Я сам ребенок и всегда радовался, когда у нас говорили: „Все для детей". Свинья же — дурная мать.

После коров — козы. Их было не больше четырех. Всем козам коза — Махотка. Меня поправляли: вероятно — Находка! Может быть, так оно и было, но я слышал и повторял: Махотка. Как она радовала: невидящие желтые глаза, белейшая сливочная бородка. Стоит смирно, а как скачет на выгоне! Я тоже умел скакать вбок, по-козьему, и хорошо блеял, подымая звук откуда-то из глубин пищевода: не э-э-э, а скорее в тоне протяженного немецкого "A umlaut". Махотка не раз ухитрялась убегать. Иногда ее искали целые сутки. Гуляя с матерью по лесу, я мечтал, что найду Махотку и приведу ее на скотный двор: то-то было бы торжество!

Козы занятнее, веселее, но вроде игрушек, а коровы — святые. Так я тогда не думал, но зрелище коровьего стада умиляло до слез. Да, милые, милые и никогда не выдадут! Может быть, то же самое ощущали египтяне и индусы. Что-то древне-материнское было в коровах: веяло от них великим добром жизни. Прижаться бы к вздутому боку и заснуть, а Белянка будет медленно пережевывать жвачку. Это хорошо, хотя и смешно. Но тем лучше! Потешное величие...

Был и птичник, но я не выносил птичьего запаха, а коровий восхищал теплой вонью, исходящей от их свежевыпеченных круглых блинов.

Фермой ведала сама Пелагея Митрофановна. Я всегда ей пониже кланялся, старался задобрить: чувствовалось, что мое пребывание на скотном дворе ей не слишком нравилось. Впрочем, она дружила с моей *фрелиной*, которая, нарушая приказание не отпускать меня ни на шаг, любила болтать с ней около сепаратора, и я тогда бегал на свободе. Сепаратором да и всей этой небольшой фермой

гордились. Говорили: совсем, как в Дании!

Горда была и дебелая, рыхловатая, но быстрая Пелагея Митрофановна.

Что-то случилось, сепаратор перестал молоко сепарировать. Пелагея Митрофановна туда-сюда дернула рычажки и вдруг раздался истошный крик. Она перебежала комнату и рухнула на кушетку.

— Пелагея Митрофановна пальчик защемили, в обморок упали, воды, воды!

Вот уже *фрелина* обрызгивает ее набранной в рот водой. Я был в восторге, и все представлял ее обморок. Особенно нравилось мне, что упала она не на пол, а добежала до кушетки: умело упала!

— Притворяется твоя Пелагея Митрофановна...

Притворяться нехорошо. Но она все умеет, вплоть до обморока!

А на скотном дворе говорят: без Пелагеи Митрофановны мы как без рук!

Восхищало все необычное, всякие отклонения. На одной из дач жил молодой человек, говорил невразумительно и волочил ногу. Я тоже обожал его представлять. А мать беспокоилась:

— Почему тебя тянет ко всему уродливому? Ну, глупые твои коровы, по крайней мере, животные полезные, а на того калеку лучше не смотреть... И не нравится мне, почему ты все возишься с Таней, играй с Вероничкой...

Таня и Вероничка — грюнталёвские дочки, и ходили они со своей *фрелиной*, дружившей с моей. Общение с ними допускалось, потому что семью их знали, они были на виду и, по-видимому, никакая зараза мне не угрожала.

Вероничка была прехорошенькая девочка, и имя ее нравилось, а Таня, гугнивая идиотка, привлекала необычностью поведения. Любила она ходить на четвереньках. Как-то я начал ее подгонять. Фрелины всполошились:

— Du, unverschämter Knabe!*

Очень я тогда устыдился, хотя никто ничего не объяснил, почему это скверно.

Был еще Мамин Коля — плаксивый сын грюнталёвской кухарки. Мальчиков я сторонился, но тут почувствовал, что могу командовать.

---

* Ты, бесстыжий мальчишка! (Нем.).

— Ты конь, а я — кучер!

Опутал Маминого Колю веревочкой и начал подгонять палочкой, как Таню. Страшный рев. Я испугался, убежал и уже больше с Маминым Колей не играл.

Как-то в Москве пришла к нам дама с сыном моего возраста.

— Пойди с Володей в детскую!

Володя был румян, крепок — яблочный мальчик, и скорее нравился. Но не понравилось, что он сразу стал верховодить.

— Маловато у тебя солдат, всего две дюжины. А у меня целые полки. Все же сыграем!

Я в солдатики не играл, но должен был подчиниться. Володя вопил: „Ать-два-три", — солдаты выстраивались, маршировали. Вероятно, Володя потом жаловался матери: „Ну и дурак этот..." Я же рад был от него избавиться.

Я привык к власти в мечтаниях: слова меня слушались, коровы потешали, утешали, а мальчишкам, кроме Маминого Коли, приходилось подчиняться.

Во флигеле грюнталёвского дома жила бабка Тани и Вероннички — старушка Балина́. Одета не как дама, в темном платье, темном платке, а все ее боятся. Потом мне рассказывали: она вдова миллионера, кажется, из старообрядческой семьи, и всеми делами сама заправляет. Сорокалетние сыновья стояли перед ней навытяжку, ничего без ее приказу не делали, и она их ни во что не ставила. Любимая ею дочь, недавно скончавшаяся, была за Грюнталём, немцем из Нарвы, и его она жаловала. Как-то раз она призвала наших на чаепитие. Они ею восхитились:

— Никакого образования, а — царица!

Царицу в платочке всегда поджидали бабы. Раз я видел: она вышла на крылечко, а за ней приживалки с разноцветными отрезами. Балина́ собственноручно одаряла баб ситчиком, а те что-то приговаривали, целовали ручку и в плечико, а она их нетерпеливо отгоняла:

— Ну, ну, с Богом!

Зрелище необычное, и я тоже представлял и царицу Балину́, и причитающих баб, и шипящих приживалок.

Как-то отец с дядей соорудили бумажного змея. Было занятно, но я не слишком восхищался. Это была не моя игра, не моя выдумка, как коровы, козы, как идиоты или загадочная, темная, но и добрая царица... Помнится,

я чувствовал, что бумажным змеем надо было восхищаться, и это расхолаживало. Больше занимало увлечение отца и дяди картами. Как-то я спустился с *фрелиной* вниз к утреннему завтраку. А игроки с преферанса перешли на стуколку. Все бледные, у толстого лысого Грюнталя черная щетинка, а свойственник наш — маленький косоглазый Стахеев играет стоя и покрикивает:

— А я его, а я его...

Очень это понравилось, хотя мать и тетка это картежничанье не одобряли.

Помимо коровника запомнились наши ужины на балконе, при лампе, о которую стукались темные бабочки.

— Что может быть лучше ва-рен-ца́, — отчеканила моя любимая тетя.

И я сразу заобожал этот ва-ре-не́ц: так вкусно она это сказала. Ее кругловатое смуглое лицо, крохотная аленькая родинка на щеке, особенная ласковая серинка в глазах — будто одуванчики, и все, что она говорила, — убеждало.

— Не могу есть селедку, потому что она *смотрит*...

И я не ел... А за одно слово „ва-ре-нец" готов был съесть всю крынку.

СУХАНОВО

Этим летом мы поедем не в Жучки, а в Суханово. Самое слово не слишком нравится, но старшие вкладывают в него какой-то особый смысл, как прежде в слова „Крым", „Ялта", „горы", „море", и радость их заражает: видно, какая-то новая игра, выдуманная взрослыми.

Мы поселились в каменном доме с островерхой крышей, а рядом еще более причудливые здания: декоративная готика при ампирном дворце. Прежде здесь помещались разные службы — пекарня, прачечная и еще что-то. А теперь в двух домах живут дачники. Их немного, и мне это нравится, правда, с чужих слов. Кто-то из наших меня убедил, что большая дачная местность — явление дурного вкуса.

В парке дубы, липы, ниже озеро и запруда у мельницы. Все запущено, и это хорошо, что запущено. Беседки с заколоченными окнами, и одна особенно хороша — вроде храмика с колоннами, называется беседка Венеры. Обелиск, воздвигнутый в память отечественной войны. Ионические колонны белого дворца. Неподалеку от нашей дачи храм-ротонда с куполом и классическим портиком, а напротив — *могилка князя.* Всего этого я тогда не понимал, многое знаю по снимкам отца, по книжке дяди о Суханове, а недавно просмотрел советский путеводитель по подмосковным усадьбам. Теперь дворец восстановлен и принадлежит Союзу архитекторов.

Строил Суханово фельдмаршал князь П. М. Волконский, министр двора при Николае I. Был этот Рюрикович слуга верный двум царям. Последний владелец этой редкой в России майоратной усадьбы — внук фельдмаршала,

коренастый старик с висячими усами и детскими голубыми глазами. Жена его — дочь графа Клейнмихеля: и он был верный слуга царский, но выскочка, грубый, хотя и дельный. Княгиня умнее мужа и верховодит. Грузная grande dame сидит в мягком кресле, обитом ситцем. Давно уже у нее отнялись ноги. Как-то ей доложили: сын, молодой князь Дмитрий, было ему лет семнадцать, упал с лошади в окрестностях Суханова и сильно расшибся. Княгиня встала и, не дожидаясь, пока запрягут лошадей, прошла около двух верст. Но сына уже не было в живых. Его похоронили у того храма-ротонды: это и есть *могилка князя.* С тех пор княгиня стала ходить, но с трудом, медленно и редко покидала свое насиженное ситцевое кресло. Я одобрял постоянный припев матери и тетки „все для детей", и не удивлялся тому, что онемевшие ноги княгини прошли тогда две версты. Все вообще в Суханове удивительно, трогательно, волшебно.

Князья в усадьбе скучали. Священника с матушкой приглашали только в день храмового праздника. Пристава они недолюбливали, хотя и он был князь — из разорившихся Церетили. Суховатый грузин с пламенными очами и в голубом жандармском мундире. А наших Волконские почти ежедневно приглашали играть в карты — в „желтого карлика" (Nain Jaune) или в „хункен". Мы были для них люди из малознакомого мира, как и они для нас, но — понравились. Со стороны наших было некоторое любопытство к высшему свету; было и недоумение. Как-то обнаружилось, что Волконские не читали „Войны и мира", „Дворянского гнезда" и одно знали: Пушкин — великий поэт, а читали они преимущественно французские книжки в желтых обложках.

У Волконских гостили отдаленные родственники: генеральша Гартунг с дочерью Виви и зятем испанцем — мужем другой дочери, недавно умершей от родов. Княгиня часто на их счет прохаживалась: теща неравнодушна к зятю, да и дочка тоже. Он чихнет, а они наперебой укутывают его оренбургским платком. Такие замечания, да еще за глаза, не очень нравились нашим пуританам. Княгиня и на людях посмеивалась над Гартунгами и, может быть, также и над нашими: был у нее иронический, „вольтерьянский" склад мышления. Как-то мать и тетка отказались от очередного приглашения, и это было принято во внима-

ние. Вероятно, княгиня заметила: „Шуток не понимают", но подшучивать перестала — нужны были карточные партнеры. Священник и пристав не годились, а наш пуританизм, может быть, втайне ей нравился.

У семидесятилетнего князя была дама, жившая на даче, в Фельдмаршалском поселке. После завтрака, около часу, князь неизменно просил извинить его: „рано подымаюсь, пойду соснуть...". А княгиня повторяла: „не больше часу", и она знала, конечно, что князь едет к даме. Такая уж была великая традиция, установившаяся еще в нашем осьмнадцатом веке: нельзя быть без помпадурши. Это не мешало любви: Волконские на самом деле любили друг друга — князь несколько по-детски, а княгиня по-матерински.

— Что поделаешь, мне надо *помереть* после *его*, — как-то сказала княгиня на своем простонародном языке дворовых людей крепостной эпохи (она же говорила *сыти*, даже *ейный*) . — Князь Петр совсем ребенок...

Со слов матери запомнил несколько рассказов княгини.

„Отец строгонек был, порол нас нещадно, а я забралась в его кабинет, куда детям запрещалось ходить. Слышу шаги, я сразу под стол заползла. Входит отец, а с ним государь Николай Павлович, который меня приметил, но только незаметно пальцем погрозил, а не выдал!"

„Ну и лило́, когда мы венчались. Англичане сказали бы — кошки и собаки сыпятся... На паперти государь Александр Николаевич говорит: „Ду'а, почему калош не надела!"

Суханово, Волконские были и до сих пор остались для меня лелеемой сказкой, и позднее я постоянно расспрашивал мать и тетку, что еще рассказывала княгиня, как отец и дядя ездили с князем на охоту? Меня лишь изредка брали во дворец. Огромная китайская гостиная, за ней японская, далее — корейская, вероятно, та роскошная chinoiserie*, которая уже выходила из моды в эпоху ампира, но, видно, Волконский-дед еще увлекался этими стилизациями. Кроме ситцевого кресла княгини ничего не помню, но нравились названия. Я тогда уже начал увлекаться

---

*Китайщина (франц.).

географией и меня восхищало, что эти залы — Китай, Япония, Корея!

— На ком женишься? — как-то спросила меня княгиня. — На русской?

— Нет.

— Почему?

— Их слишком много...

— На немке?

— Нет, с немцами мы воюем.

— На француженке?

— Нет, они балуются.

— На испанке?

— Нет, они щиплются...

— Перестань молоть вздор, — одернула меня мать. Очень не понравились ей мои ответы, но также и вопросы княгини, обращенные к восьмилетнему мальчишке.

Другая *фрелина* — не Толстая, а Тонкая, Адель, как-то сказала мне, что испанки щиплются, вот и выскочило то, что не должно было выскакивать. А испанский зять генеральши Гартунг, к счастью, меня не понял: он русского языка не знал.

Испанцу было не больше двадцати четырех лет. Лица не помню, но запомнился его светло-серый костюм и лиловая летняя рубашка. Меня он очень занимал, и я все смотрел на его визитную карточку. В траурной каемке выгравирована надпись: „Анхель Донестеве и Перес дэ Кастро, атташе Его Величества в Пекине..."

Каждое слово, каждый слог и самые буквы пели, распевали райскими птицами. „Князь Волконский" — хорошо звучит. Но это свое, русское, привычное. А здесь Испания с ее звучной географией: Толедо, Барселона, Аранхуэс. Как-то мне довелось, и очень неудачно, поговорить с испанцем...

С утра мы отправлялись в лес по грибы. *Фрелина* почему-то оставалась дома. Мы шли втроем: кузина Марина, ее няня Поля и я. Поля ведала грибные тайны и ко мне относилась насмешливо: „Почему *он* всегда за нами ходит, у нас свои места?.." По установленному Полей закону можно было брать только эти грибы: боровики, подберезовики, подосиновики. А мы называли их: белые, черные, красные. Маслята, козлята, сыроежки, опенки, рыжики, лисички — мелочь, их собирать неприлично. Можно было

бы еще брать сморчки, но они уже *сошли* ранней весной. Могли бы быть допущены и грузди, но их в таганском лесу, куда мы ходили, не было. Это была грибная *доктрина* Поли. Целью моей жизни в Суханове было набрать больше грибов, чем опытная Поля и глазастая Марина. Только раз удалось их перещеголять, но торжество было испорчено ядовитым замечанием Поли:

— *Он* наши места прежде нас обошел!

В лесу я как-то плохо видел: все зеленело, колебалось в полумраке, пахнувшем прошлогодними листьями и лесным клопом, и к негодованию Поли я иногда давил каблуком боровики.

Как-то испанец отправился с нами на грибную охоту, кажется, вместе с Виви Гартунг. Я и не заметил, а он стоит рядом со мною, держит в руке мухомор и спрашивает: „Да, да? Нет, нет?” Я был так ошарашен, что сказал: „Да, да”. Значит, гриб съедобный! Какой позор!.. И сейчас краснею. А Поля, конечно, сказала: „Нет, нет”, — и Анхель Донестеве что-то смеясь рассказывал Виви о глупом petit garçon!

По сухановскому парку няня возила его испанско-русского сына, тоже Анхеля — ангела! Все удивлялись: никогда он не плачет, только улыбается. Сразу видно, что няня его ученая — не простая, а голландская. Жив ли этот ниньо, ведь ему было лет двадцать, когда началась гражданская война в Испании.

Иногда мы встречаем бледного мальчика моего возраста с его няней, посматривали друг на друга, но не познакомились. Это Давиденька, сын никем не любимого пристава — князя Церетели. Княжич, но кажется, что он пониже, похуже нас: не потому ли, что круглый год живет в Суханове, тогда как *все* должны жить зимой в Москве или же в Петербурге, как князья Волконские.

Большое событие — в Суханове снимали фильм. Наши относились к съемке насмешливо: для синемошки крутят! А я любил издали смотреть на актеров. У них был свой театральный князь — белое лицо, глаза подмазаны, козлиная бородка.

У маленькой пристани на озере этот князь сел в лодку с красавицей в пестром платке. Теперь догадываюсь: куда-то увозил ее с целью обольщения. Тот же князь прохаживался у мельницы, а на него наезжает жгучий

брюнет в белом картузе. Конь взвился, всадник крикнул:

— Князь, я посажу тебя на скамью подсудимых!

А князь ничего, только головкой помотал. Еще маевка на лужайке. Актеры сидели кружком на пестром ковре. Самовар, бокалы с желтым и красным лимонадом. Все смеются, кричат. А режиссер надрывается:

— Стоп, стоп... громче, веселее... что вы, мертвые?

Так повторялось несколько раз.

Все это я изображал Марине и Поле. Поля, конечно, не одобряла, а Марина изредка улыбалась. Она существовала и в Жучках, но очень уж была мала, часто хворала, и я редко играл с нею. Худенькая, а глаза огромные, голубоватые — ни одного гриба не пропустит. Смешно выпирает животик — и мне нравилось этот животик мять. Сразу крики, слезы и после этого опала на несколько дней. А Поля выговаривала:

— Пусть *он* подальше от нас держится... а мы и без него проживем!

Я обижался, но знал, что Марина *лучше* меня и „с характером", как говорили старшие, а у меня „характера" никто не обнаруживал. Иногда, и безо всякого с моей стороны повода, она вдруг прерывала любую игру, и никакие мои угрозы или моления не могли ее переубедить.

Подражая взрослым, мы выучились играть в *волконские* карточные игры — и в Nain Jaune, и в хункен. Платили разноцветными фишками. Были у нас и болваны: один назывался Шиллер, другой — Гете, а иногда мы их называли Ибсен и Гамсун. Кто-то сказал, что у каждого народа два особенно замечательных писателя: у нас Пушкин и Гоголь, но русские имена не развлекали, и я выбрал те две пары. Так и слышалось за игрой: „Сходи за Шиллера!.. Разве я Гете?"

А иногда играли вчетвером *в короли*. Марина неизменно оказывалась *королем*, Поля *мужиком*, а мы с фрелиной выходили в *принцы* и *солдаты*. Поля, вероятно, умело плутовала в пользу своей любимицы. К тому же игра требовала расчета, арифметики, с которой я был не в ладах.

Только Марине я признался, что в острой башне нашей дачи живет Янчик, и с ним плохо обращается страш-

ный старик: имя его оканчивалось на *оэ*: и гласные эти я как-то особенно подвывал. Сложился целый миф, но почти ничего не запомнилось.

— Янчик опять приходил вечером, а ...*оэ* его сразу забрал в башню!

Были и другие мечтания: хотелось мне ночью сбежать под соседние дубки и молиться всю ночь, чтобы очиститься от грехов. Казалось бы, я не привык себя в чем-то винить, о грехах у нас не говорили. От кого я мог слышать о святых старцах-отшельниках? Уж конечно, не от Поли, дьяконской дочери, которая в церковь не ходила, и не от веселой Матреши, бегавшей на свидание к княжескому камердинеру, и не от новой *фрелины* Натали́.

Как-то мать отослала меня одного домой, — вероятно, когда в Китайской гостиной сели играть в Nain Jaune. Кажется до этого никогда один не ходил, а ходьбы было не больше пяти минут. Я залюбовался парадной белой матроской и „вообразился" адмиралом, даже пытался маршировать, отдавая честь матросам с крымского миноносца дяди-инженера. Военная эта мечта была исключением: я ведь и смотреть не хотел на моих оловянных солдатиков.

Все годилось для одиноких сладчайших игр: и отшельничество, и адмиральство, и накрашенные актеры, и забытый Янчик с его злым ...*оэ*. Ни Марина, ни вся сухановская сказка этих мечтаний не заменяли.

К концу последнего лета в Суханове я заболел дифтеритом. Бациллы завезла Матреша: она ездила в полумордовскую свою деревню хоронить сынка, умершего от дифтерита. Ее дезинфицировали, но это не помогло. Дядя с теткой сразу увезли Марину в Москву. Мы остались одни. Никаких страданий не помню, жар спал, но я очень медленно поправлялся. Отец привозил из Москвы нашего детского доктора Гольда: седые волосы бобриком, румяное лицо, смеется. Он прописал какое-то лекарство:

— Теперь я вам уже не нужен, пусть ходит местная докторша.

Это была весьма идейная земская служащая, шестидесятница, денег не брала из принципа и приходила редко:

— Я прежде всего обслуживаю крестьян!

Того самого лекарства *передали* и у меня отнялись ноги. Я, конечно, был уверен, что у меня не может быть никакого паралича, как у княгини... и не беспокоился,

но скучал, сидя на лужайке, откуда видны были и круглый храм и *могилка князя*. Меня утешали чтением „Таинственного острова" и „Детей капитана Гранта".

Как-то Матреша всплакнула:

— Тебя-то выходили, а моего...

Вероятно, такая же деревня, как та, что при усадьбе Волконских. Тесные избы, босоногие мальчишки: такой сын был и у Матреши. А если бы мне пришлось так жить! Жутко, и мужики жуткие. Запомнились две встречи.

Мы идем с фрелиной по пыльной скотьей дороге. Пронесся мимо нас хромой, но быстрый странник. Я все смотрел на его распухшую пятку — уж он далеко, а пятка все мелькает.

Снилось: вот он входит и наступает этой воспаленной пяткой на горло.

Я один на балконе. Откуда ни возьмись мужик: борода черная, взлохмаченная, но маслянистая, блестящая, как паюсная икра. Смеется:

— Никого нетути, барчук? Ась — никовошеньки? Один сидишь!

Я с ужасом на него воззрился. Уведет, как цыгане? Полоснет ножиком?

А бабы были милые. Одну, приносившую ягоды, у нас называли *вальяжной*. Пестрый сарафан и медовые речи:

— У меня мужик ладный, непьющий, не дерется, извозом промышляет в Москве... А детки ваши — те же ягодки... любо-дорого смотреть!

В революцию сухановскую усадьбу разграбили, коечто сожгли. В дележе добычи, вероятно, принимал участие не только тот веселый, жуткий мужик с паюсно-икряной бородой, но и *вальяжная* Параша, и ее ладный непьющий муж. А теперь архитекторы обедают в круглом храме-ротонде, и едва ли сохранилась могилка князя — крест был мраморный, новой работы, это не сокровище искусства, как та церковь, выстроенная по плану А. Г. Григорьева... И крест сорвали с купола.

Лунная августовская ночь, уже прохладно. Мать и тетка в белых казакинах поверх стилизованных сарафанов, которые они иногда носили летом: у матери желтый с синими павлинами, у тетки — синий с розовыми цветами, очень они запомнились; странным образом одеяния я помню лучше, чем лица. Запоминаю и руки — у княгини пух-

ловатые, белые, будто замаринованные пальцы, напоминающие стволы боровиков.

Угольные тени в сухановском парке и матово-млечные полосы лунного света, волшебно белеет круглая беседка Венеры. Страшновато, но и блаженно. Не идем, а летим, и слышится особенный легкий звон в приглушенных голосах матери и тетки. Что-то их радует, и все мы в полной неизвестности, на полной свободе, так что дух замирает. Если счастье не определять, а только дышать им, то наверное это и было высшее, когда-либо испытанное счастье.

После, уже в Эстонии, мы провели день в имении других Волконских, в Фалле. Оно уже было продано владельцами, они сохранили для себя только сторожку. Опять была лунная ночь, и мы бродили с Мариной по парку. Прошли две дамы. Тоже неслись куда-то, как лет за десять наши матери. И счастливо звенели их голоса.

— Как в Суханове... — сказала Марина, и все было ясно без лишних слов.

Грибы, карты нас куда больше занимали, тешили, чем все вечерние прогулки. А вот одна лунная ночь навсегда запомнилась. Неясно брезжилось: что-то еще есть, кроме нашего *бывания*, а что именно — и сейчас не знаю: небывалое счастье? неведомая свобода? Вырваться бы туда... А, пожалуй, нет, — еще рано. Страшно не только то, что оттуда нет возврата, всего страшнее, что и возвращаться не захочется! Лучше было бы обождать, а все же хорошо, что была та волшебная ночь: угольно чернела, матово сияла и пахла опятами. Была она и, несомненно, есть.

КРИУКОЛЕННЫЙ

С незапамятных времен мать и тетка говорили: „У нас в Криуколенном...”

Как-то раз в незнакомом мне районе Мясницкой мы зашли в переулок с поворотом за угол. Прочел надпись: *Кривоколенный*, а мне все слышалось „Криуколенный”! Здесь в большом и ничем не примечательном доме родились сестры Фроловы — мать и тетка. Всего Фроловых было семеро, и я жалел их за то, что они не „единственные”, как кузина Марина и я.

„Криуколенные” рассказы я слышал и позднее, до недавнего времени. Все слагалось в миф, как и в Суханове князей Волконских. Исходным героем этого мифа был мой прадед Семен Афанасьевич Живаго — художник „невеликий”, по приговору Сомова, очень уж был он „академик”, и его роспись Исаакиевского собора скучновата. Семейные портреты Семена Живаго публике неизвестны и, мне кажется, они лучше, чем его „Тайная вечеря” или „Обращение апостола Фомы”. Занимателен интерьер, написанный им перед зеркалом. В удаленном от зрителя плане виден он сам — сидит перед мольбертом. Ближе к зрителю, во второй комнате, его жена сидит в кресле, а в первой — это большая пустоватая зала — чинно расселись в креслах родственники. В центре роскошная кормилица, и на руках у нее младенец — моя бабка Елена Семеновна. Хорош и автопортрет Живаго — небольшая круглая акварель или пастель. Темно-синий академический мундир с высоким, шитым золотом воротником, а лицо — какое-то без возраста. Из-под приспущенных очков мучительно вглядывающиеся серо-голубые глаза. Тихий чело-

век, который может долго сидеть, не произнося ни единого слова, и потом неслышно уходит в свою комнату, садится у окна и смотрит на моросящее петербургское небо. Позднее мы узнали, что он принадлежал к секте субботствующих, или, как их иногда называли, жидовствующих. Значит, чего-то искал, добивался какой-то правды... И едва ли ее нашел.

Мать и тетка деда Живаго никогда не видели, он умер задолго до их рождения, в 1863 г., пятидесяти шести лет. В моем детстве живописец Семен Живаго, которым у нас так гордились, возвышался на самом верху семейного Олимпа. На квартире тетки находились портреты отца Семена Афанасьевича Живаго — рязанского городского головы, а также другие его семейные картины.

Прадед Семен Живаго выслужил в Академии дворянство и уже после смерти рано умершей жены отправил свою единственную дочь — баловницу Лелю в Екатерининский институт благородных девиц. Сохранились ее записи лекций о переселении народов, о Магомете и магометанстве. Почерк паутинно-тонкий, а в серебряном кошелечке хранились ее „родимые волосики", как записала прабабка.

Как-то прадед привез своей дочке огромную коробку конфет и сказал: „Знаешь, Леля, я женился..." Дочь бросила бонбоньерку на пол, убежала, и будто бы через несколько минут у нее разлилась желчь, а было ей тогда лет тринадцать. О мачехе Елена Семеновна редко упоминала, дочери лишь позднее узнали, что звали ее Шарлотта Ивановна — уж не экономка ли из Нарвы или Ямбурга и, может быть, тоже субботствующая?.. Вскоре прадед умер, и все свое состояние, тысяч тридцать, завещал не второй жене, а дочери. Пятнадцатилетняя сирота переехала в Москву, к дяде Сергею Афанасьевичу, гласному Московской Городской Думы. Она не очень ладила с теткой. Та говаривала: „Я тебе приглядела жениха — красавца-офицера. Пойдешь за него?" — „Не хочу", — отвечала племянница. Позднее она объясняла дочерям: „Красивый — значит, изменит..." Видно, после второго брака отца было у ней недоверие ко всем вообще „любовям" и даже брезгливость.

— В свое время и вам придется выйти замуж, — говорила она дочерям, моей матери и тетке, — но, поверьте,

всякие влюбления — вздор... А брак — это необходимое удобство и неизбежное зло...

На похоронах дальнего родственника на Новодевичьем кладбище Елена Семеновна познакомилась с Александром Дмитриевичем Фроловым, одним из многочисленных знакомых дяди Сергея. Он влюбился в нее, даже снял с матерью квартиру поближе к дому Живаго. Было ему за тридцать, не красавец, но приятен, основателен, живал в Германии, Англии, занимался делами ювелирной фирмы братьев Фроловых. „Такой любить будет", — решила Леля Живаго и стала Еленой Семеновной Фроловой.

Дед Фролов купил тот самый дом в Кривоколенном переулке. В двадцатых годах жили в нем Веневитиновы, и там Пушкин читал любомудрам „Бориса Годунова". Так купечество сменяло дворянство в старых московских домах.

Деда Фролова я знал только по фотографиям, и он мне не очень нравился:

— Зачем брови хмурит? Не злой ли?..

— Нет... справедливый..."

Но справедливость меня не трогала. А бабка и нравилась и не нравилась. У нее было сильное пристрастие к таксам, пинчерам.

— Выедет, бывало, в коляске, но всегда без собаки...

— Почему же?

— Чтобы не быть смешной: как-то стыдно, вот, мол, выезжает барыня с собачкой. А псы часами ждали ее возвращения на подоконниках. Такса Мушка прежде других заметит коляску и понесется по лестнице, а за ней с визгом вся стая. Муженек этой Мушки был Зайчик, совсем глупый, и она им *руководила*... Поэтому, если жена умно командовала мужем, у нас говорили: такая-то — настоящая Мушка!

Не нравилось, что бабка собак любила чуть ли не больше, чем детей, а также и то, что младшеньких она предпочитала старшим. Мать была ее любимицей, а потом в фаворе была следующая сестра — тетя Маша, мать кузины Марины.

— Дед твой, — вспоминала мать, — всех одинаково любил и перед смертью вышел с миллионным капиталом из дела, чтобы завещать деньги поровну всем детям, а тогда ведь по традиции сыновьям оставляли больше. Сказал:

„Пусть делают с деньгами, что хотят, а если оставить в деле, то, не приведи Господи, еще перессорятся".

Елена Семеновна любила читать преимущественно все историческое: „Русскую старину", „Русский архив", „Исторический вестник"...

— Сколько мы от нее узнали еще до поступления в школу, — говорила мать, — об Анне Монс и о Виллеме Монсе. Конечно, ничего не понимали, но запоминались имена...

Елена Семеновна взяла с собою мою мать, ей было пять-шесть, на похороны Ивана Сергеевича Аксакова: бабка ценила его „Русь" и вообще славянофилов, а дед поклонялся Каткову и черпал свои мнения из „Московских ведомостей".

Мать вспоминала короткую эпоху Александра Третьего. Какая тогда была основательная, прочная Россия. Стоит городовой на Мясницкой и, казалось, всегда стоять будет! Ничего вообще не изменится. Едет Государь и бороду поглаживает, а Мария Федоровна улыбается, глаза — звезды... По „Ниве" и по „Иллюстрированной России" мать знала весь царствующий дом, всех иностранных принцев, королей. Многие бывали в Москве и проезжали совсем рядом по той же Мясницкой, и полиция извещала об этом дворников. Ходили смотреть шаха персидского, эмира бухарского или Ольгу Константиновну, королеву эллинов. Были заказаны места для похорон Александра Третьего. За колесницей шли молодой государь и принц Уэльский. Тут нянька Петровна куда-то „завалилась", и Эдуард оглянулся — но не Царь, — и все решили, что у него больше выдержки, чем у англичанина!

А бабка Елена Семеновна не верила в незыблемость устоев и часто говорила:

— Будет революция, выгонят меня из дому и пойду в богадельню, вакансия для няньки оплачена, я вместо нее сяду...

Дед заболел раком желудка и умер, когда ему было пятьдесят шесть лет. Именно тогда-то, понимая, что „дело безнадежное", он и вышел из фирмы и вообще обо всем перед уходом позаботился. К нему вызывали знаменитого Захарьина, лечившего Александра Третьего. Его гонорар — пятьсот рублей, и еще надо было поставить шампанское, которое, однако, он пить не пожелал. Навестил деда и отец

Иоанн Кронштадтский: сам он денег не брал, но брали „присные", развозившие „своего батюшку".

Последние месяцы дед жил в маленькой подмосковной. Все земные дела были исполнены, одно осталось — страдания, и он часто раздражался. Дети за обедом дрожали, дед к ним придирался и более всего к бабке. Ладила с ним только нянька Петровна.

— Ну и что там, барин Александр Дмитриевич... — И рассказывала ему о прежнем своем житье-бытье, как она волка видела и *его* повстречала. — Никак Семен-лесничий идет, говорю, а старшая сестра говорит: „Какой там Семен, разве не видишь: *выше леса идет!*"

— Врешь, нянька, — перебивал дед, а все же терпел ее больше других. — Видишь, Елена Семеновна опять изволила выйти на прогулку!

А нянька, работая спицами, отвечала:

— Ну что ж, погуляет и вернется, лекарствие даст.

Всю жизнь дед носил свою Лелю на руках, а тут увидел: никому больше не нужен, всем в тягость, пусто и темно. Превратился в пугало, не мог сдерживаться, раздражался, дети его избегали.

После смерти деда читали „Смерть Ивана Ильича" и говорили: „То же самое было у нас..." Отца жалели, себя осуждали, втайне радуясь: вот кончилось! Казалось бы, все было прочно, основательно: над Россией тот Царь, который будто бы сказал: „Пусть Европа подождет, пока я ужу рыбу", а в Кривоколенном переулке отец с его заботами обо всех — и оба один за другим умерли: обоим никто не помог — ни доктор Захарьин, ни Иоанн Кронштадтский.

Справедливый отец, бабка с собаками, книгами, рассказами из малой истории — а солнце, светившее детям, — прабабка Анна Афанасьевна, внучка *чумного богача* Матвеева. Был он мелкий служащий дворцового ведомства; после чумы, при Екатерине, скупил чуть ли не все выморочные земли в предместье Лефортово. Платил „гро́ши", но все же неясно, откуда у него эти „гроши" были. Матвеевы разбогатели, один из внуков вышел в дворянство. Жили во дворце, и прабабка там танцевала: смуглянка в розовом платье, и внукам не верилось, что их Бабочек-Милочек, как они ее звали, кружилась в вихре вальса еще

в тридцатых годах. Анна Афанасьевна вышла за прадеда Фролова и рано овдовела. Больше всего она любила самого удачливого из своих детей — моего деда, и мне было это непонятно: надо любить несчастных детей, неудачников! Одну ее дочь приучил к морфию зять-адвокат, и оба они рано „сгорели". Другой сын кончил самоубийством. Еще одна дочь вышла замуж *за Москва-реку*, что считалось нехорошо и как-то смешно: нравы там были *из Островского*. Эта дочь очень звала к себе прабабку, но та осталась у любимого сына, хотя невестка ее не жаловала, и она замкнулась в своем флигеле, где ей отдельно готовили.

— Баловница ваша бабушка, — говаривала Елена Семеновна и чего-то недоговаривала. Кажется, это был намек на то, что Анна Афанасьевна по доброте сердечной избаловала второго внука — Владимира, дядю Володю.

Все семеро внуков забегали к ней полакомиться, понежиться: Бабочек-Милочек всех приласкает, а Володя выпрашивал у ней и деньги, и не рубль, не два рубля, и тут что-то произошло. Ему пришлось уйти из гимназии, надо было лечиться, и дед отправил его на два года в Кассель — верил, что только немцы его „выправят". Позднее Владимир кончил юнкерское училище и поступил в Сумской имени Короля Датского полк, не гвардейский, в который принимали и не дворян. Лет через десять он сошел с ума и умер, когда ему было тридцать. И опять Елена Семеновна повторила с укором: „Баловница бабушка..."

Сошел с ума и зять — муж старшей тетки, и это будто бы часто случалось в московских семьях в девяностых годах, и кузены матери, Живаго, говорили: „Надо выдавать сестер и дочерей за немцев — *оно вернее*!"

Старые фотографии: скульптурный мундир дяди Володи, ни одной складки, неподвижное красивое лицо, прямой нос с едва намеченной горбинкой и слегка удлиненный подбородок. Очень красив и похож на избаловавшую его прабабку Анну Афанасьевну. Выражение — надменное, но впечатление это будто бы обманчивое: был он живой, веселый, с огоньком в синих глазах, но на фотографиях — неподвижный, окаменевший.

Больше всего рассказывалось о жизни Елены Семеновны после смерти деда. Овдовев, она сразу же наняла компаньонку — пресловутую Юлию Михайловну. Никто

ее не любил, включая бабку, но, несомненно, она внесла немало оживления во фроловский дом.

Дядя Володя говорил: „Юлия Михайловна, что называется, „с прошлым". Это прошлое было неясное, хотя она часто о себе рассказывала на своем смешанном, „коктейльном" языке.

— Я прусска подданна, честна панна, а зчастья не было, зчастье у дочки, ее муж захран-царь.

— Что это значит?

— Значит: захран для царь!

Все смеялись и не верили даже в существование дочери, но она как-то явилась с визитом, скромная, элегантная и, как оказалось, была замужем за полковником охранной службы.

Младший брат матери, Сергей, как-то облекся в простыню и явился к Юлии Михайловне. Реакция ее: „Где зикор, дайте мне зикор! Ах, как мусье Серж ми шпугал", — и она съела несколько ложек цикория.

Кончилось тем, что Юлия Михайловна взяла денег на покупку „добрый конь", а купила какую-то клячу, и ее изгнали из Кривоколенного переулка. С самого детства я слышал о ней анекдоты и, вероятно, был бы в восторге, если бы такая вот поселилась у нас. Ломаный русский язык меня всегда восхищал: один знакомый немец-москвич говаривал: „я развел ушами", „двоюро́дный брат", и я постоянно ему подражал. Одна из недолговечных горничных сказала „ко́вры", и мне тоже хотелось так говорить: неправильное ударение выделяло это слово из языковой инерции и как-то сияло, манило!

Елена Семеновна пережила мужа лет на двадцать. Пустел дом в Кривоколенном переулке, уезжали замужние дочери, женатые сыновья. Остались только младшие дети: мать и тетя Маша. На балы они не ездили, но были ярыми театралками, увлекались „революцией" Художественного театра и предпочитали его „реакционному" Малому театру, где блистали Ермолова, Федотова, Южин. Ездили с подругами за границу, и скуповатая бабка неожиданно перестала скупиться и все беспрекословно оплачивала: билеты, счета от портних. Может быть, боялась: „Вот улетят и эти дочери, и останусь я одна с глупой Марией Ивановной". Эту последнюю компаньонку я видел, иногда она к нам заходила из богадельни: старушка в синих оч-

ках, пробор посередине, а по бокам волосы взбиты вверх наподобие рогов, и мы называли ее рогатой Марьей Ивановной.

Как-то раз бабка сказала: „Не желаю больше жить в Кривоколенном, не хочу обедать за этим столом, на который меня положат...” Вопреки всем доводам дочерей, она поселилась с ними на отдельной квартире, но все оказалось очень уж неудобно, тесно, да и дорого, и через несколько месяцев она вернулась в Кривоколенный переулок.

Заболела сахарной болезнью и к доктору опоздала: уже поздно было лечиться. Боялась смерти, а умирала тихо, кротко, и это всех поразило.

Уже ничего ей не хотелось, и она больше молчала. Положили ее на тот самый стол, за которым она обедала сорок лет.

На моей памяти никогда я в „криуколенном” доме не бывал: его сдавали после смерти Елены Семеновны и позднее продали. Но все же я там был во времена доисторические: бабка крестила меня в гостиной с живагинскими портретами, и раз в неделю меня возила к ней мать или няня Дарья, чтобы потешить бабку между чтением „Русской старины” и игрой с таксами.

Елена Семеновна не следовала нашей домашней заповеди — все для детей! Меня в детстве возмущало, что она мало занималась детьми, которых было семеро, что, по моим понятиям, было даже „неприлично”! Но, кажется, из всех людей, которых я знаю только по рассказам, она самая для меня знакомая, живая, близкая. Часто тянет к ней зайти: я взбегаю по лестнице — стены выкрашены лазоревой масляной краской (так рассказывали мать и тетка). Скучная гостиная с симметрически расставленными бидермейерами и знакомые живагинские портреты, которые висели потом у нас. Из-под очков смотрит странный — не молодой, не старый прадед Семен Афанасьевич: его одного любила Елена Семеновна, и он ее навсегда разочаровал женитьбой на какой-то Шарлотте Ивановне.

— Ну что, декадентов читаешь? У твоего Мережковского все наврано, какой там Петр – Антихрист, а Алексей — Христос... из пальца он, из пальца... не Бог, чтобы из ничего, не Бог...

Намекнули об особой близости государыни к Распутину.

— Чепуха! Это только сплетни, и нужно понять, что один Распутин мог лечить наследника — единственного сына.

Так, прибавив себе десяток лет, я разговариваю с бабкой. После семнадцатого года ей жить не следовало. Незачем было ехать в богадельню, где она оплатила место на случай революции: и оплата эта уже никакого значения не имела, скорее всего, ей пришлось бы жить в дворницкой, если только дворник отвел бы ей каморку.

Революция Елену Семеновну убила бы, но едва ли она возроптала бы. Слышатся мне эти ее слова, которых она никогда не сказала:

— Как умели... как умеют...

Мы пожили, как умели, пусть и они поживут, как умеют!

Елена Семеновна ходила в приходскую церковь, где дед спорил со священником и оплачивал счета по ремонту.

— На всякий случай ходила, — заметила однажды мать.

Тоже на всякий случай выплачивала она ежемесячное пособие живагинскому кузену Ване, сосланному в шестидесятых годах. Может быть, Бог и спасет, может быть, и тот сибирский ссыльный поможет, когда начнется *заварушка* (революция)! Впрочем, едва ли: никто не поможет, ни Бог, ни Ваня... Была она барыня, была и нигилистка, и еще — была она дочь отца, который вторично женился.

Хорошо было бы поговорить с бабкой-крестной, и иногда я с ней разговариваю!

ПРЕЧИСТЕНСКИЙ

Только что вернулись с дачи: откуда? Из Суханова или же из Жучков? В Москве все воспоминания сливаются... То ли мне пять лет, то ли уже девять, десять.

Какая тоска в клетках-комнатах. С улицы доносится цоканье копыт по мостовой. Будто по мне проезжают коляски, кареты. А на другой день я уже не слышу этого нудного цоканья.

Бесконечный Пречистенский бульвар. Памятник Гоголю — какой он носатый, и горбится, склоняется: клюет носом.

Гулять я не любил ни с *фрелиной*, ни с матерью. Мне не позволяли играть с детьми: боялись заразы, хотя и без общения с ними можно было подобрать дифтеритные палочки, которые я *схватил* не в Москве, а на приволье, в Суханове.

— Не води рукой по скамейке, — говорили мне. — Или надень варежку!

Все было заразно, все было опасно. После купанья меня носили из ванной в детскую.

На бульваре шумели дети. Мальчишки играли в казаков-разбойников. Иногда хотелось с ними побегать, но и страшно было: побьют!

Отец постоянно спорил с матерью:

— Балуешь его... вырастет уродом...

Как-то он вытолкал меня с черного хода на двор:

— Два часа играй в снежки!

Мальчишки построили снежную крепость и брали ее приступом, но коновод сразу меня заушил: „Откуда взялся, маменькин сынок?" — и свалил в сугроб. Я минут де-

сять дрожал на черной лестнице, а,взойдя наверх, нашел дверь полуоткрытой. Мать уже поджидала:

— Вот поступишь в школу — наиграешься! Никак уже чихаешь...

Но школу, к моему счастью или несчастью, мать все откладывала. Первый приготовительный, второй, третий, и все ходит курсистка, учит по утрам.

Как-то на Пречистенском бульваре мальчик подсел сзади меня на мои санки. Летели с горки, падали, барахтались, и я блаженно визжал. Выговора я не помню, но как будто другого такого совместного катания не было. *Фрелина* подсаживала на горке и потом везла мои санки наверх.

До́ма... Шерстяной байбак — любимая игрушка. Какой-то пузан, которого знаю по снимкам, сидит в моих объятиях. Но помню, как твердил: „Бай-бак, баю-баюшки, бай-бак!" И был счастлив. Шерстяные звери: рычащий медведь, белый слон, кубики, заводной аэроплан, железная дорога и, главное, три коровника с коровами. Один из них, самый большой, целую ночь сколачивал отец, накануне моих именин. Увлечение коровами он весьма одобрял.

В пятнадцатом году дядя и тетя переселились в наш арбатский район, и мы почти каждый день встречали на Пречистенском бульваре Марину с Полей. Гулять стало веселее. Марина в белой шубке, и все на ней белое — даже галоши, будто бы единственные во всей Москве белые галоши. Как хорошо, что она тоже единственная дочка!

Зимой Марина отвыкала от меня. Смотрит хмуро, делает вид, что не слушает мои россказни, а Поля ядовито замечала:

— Мы наизусть знаем сказку о царе Салтане, мы сами — Шемаханская царица! Куда занятнее *его* болтовни!

Поля многое знала: все о грибах и еще удивительные враки:

Дьякон пляшет в лихорадке,
Просит жареного льду
Положить ему ...

И Марина добавляла: „...на пятки!" Она боялась битого стекла, и Поля тщательно обходила нежилой домик на

Сивцевом Вражке с разбитыми окнами. Все у ней особенное, каждая рука иначе называется: правая — Праша, левая — Леша. А дядя велел выбить памятную медаль, и мне ее иногда показывают: родилась тогда-то „в памятный день прохождения через земную атмосферу кометы такой-то...”. Поистине Марина и есть Шемаханская царица, и куда более избалована, чем я. Мне это нравится и я даже готов простить Поле презрение к *нему*, то есть ко мне. Сказочна и квартира дяди и тети: у них больше семейных портретов предков — Живаго. Гостиная похожа на нашу: тоже ампир, но белого дерева, а не красного, как у нас, и выглядит наряднее. Как-то я это „признал”, но заметил:

— А столовая наша лучше, заказана в Абрамцеве у кустарей — черная, мореного дуба, жар-птицы на спинках стульев, а на ручках резные желуди.

Марина учится по азбуке Бенуа с диковинными картинками: на „У” — веселый ураган, на „Ижицу” — загадочный Иакинф, юноша вроде святого. Да, все у них особенное.

Марина с матерью у нас. Мы переодеваемся. Я в мамин лиловый камзол с беличьей опушкой, а Марину облачили в сиреневое муслиновое платье. Ходить в нем она не могла и ее усадили в кресло, под портретом прабабки — Софии Александровны Живаго: она в малиновом платье, плечи открыты, и это меня очень удивляло. На балы у нас не ездили, ходили только в театр. Мать в этом самом сиреневом платье с *умеренным* декольте. А Марина разошлась, заговорила и не могла остановиться:

— Я княгиня и мне никого не надо... кликну, и Баба Бабариха принесет мне блюдо конфет от Эйнема, а я их есть не буду. Купят мне коров — а мне что? Отдам их Юре, пусть с ними возится! На Пречистенском бульваре все шары в воздух пущу, а смотреть на них не буду, я выше подымусь на ковре-самолете... Прашу о Лешу ударю и улечу в Суханово!

— А меня возьмешь?

— Нет, возьму маму, папу, Полю.

Спектакль кончился слезами: хочу в мое платье, хочу домой!

Опять хождение по Пречистенскому бульвару или около Храма Христа Спасителя. Как-то мать сказала:

— Вот ты все ноешь: домой, домой! А посмотрел бы

на Кремль. Из Америки приезжают, чтобы взглянуть на эти стены, соборы!

Пожалуй, я знаю Кремль преимущественно по репродукциям, хотя постоянно видел его во все детские-отроческие тринадцать лет жизни. А слово нравилось: есть *крем* в Кремле, и побуревшие стены его съедобные, шоколадные, и очень удивило, что его приезжают смотреть из Америки. Лучше бы глядели на Храм Христа Спасителя — какой он огромный, а купола золотые, солнечные. Кто-то из старших сказал: „Нелепое сооружение... разве можно сравнивать с кремлевскими соборами!" Ругали и памятник Александру Третьему: „Сидит истукан на юру! Спиной к Храму Христа Спасителя, лицом к Кремлю..." Тоже не соглашался: „Вот настоящий царь, в венце, держит скипетр и державу". Слова-то какие: яблоко с крестом — держава, а меч — скипетр! На той же площади дом Перцова, который тоже старшим не нравился: „Ложнорусский стиль... гребешки!" А мне он казался сказочным теремом.

Дул ледяной ветер, и *фрелина* сказала: „Вернемся раньше!" А я не хотел, убегал. Хотелось еще раз, задыхаясь, подгибаясь, обойти Храм Христа Спасителя. Хотелось с ветром драться, хотя он сильнее всех мальчишек, которых я так боялся.

То ли одна из *фрелин* ушла, то ли уехала в отпуск, и меня вывела на Пречистенский бульвар Матреша. Что народу на Арбатской площади! Ждут выхода Государя из юнкерского училища. Мы с Матрешей поджидали у памятника Гоголю, но моросило, и она меня увела, утешая: „Сколько раз еще царя увидишь!" Но не увидел, а хотелось: он ведь сын того памятника Александру Третьему.

Та же Матреша как-то сказала:

— Наследник болен, может быть, и помрет... хочешь быть наследником?

— Хочу! Он тоже в матроске, милый, но неважно, что умрет: я буду наследником, и мальчишки меня бояться будут!

Матреша смеялась, а мать укоряла:

— Зачем ему умирать? Ты вот не хочешь... И незачем тебе быть наследником. Знаешь тот кремлевский памятник Александру Второму, — он дед царевичу, и его убили, царей убивают!

Романовых я быстро выучил по „Русской истории для

детей". Мономаховы шапки на Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче, локоны Екатерины Второй: она будто бы сама камин затапливала. А лицом больше всех нравится Александр Первый, именуемый Благословенным. Прогнал Наполеона, который Москву сжег, и его огромный портрет был в кабинете у князя, в Суханове. На плафоне, что над памятником Александру Второму — мозаичные портреты Романовых: я всех узнал, перечислил и заслужил похвалу матери.

Гоголь дольше царей оставался неопознанным. Смешное имя и клюет носом. Но и он был позднее обнаружен в хрестоматии „Живое слово", как и более удаленный от нас Пушкин: он высится на Тверском бульваре. Цари царят, писатели пишут, им ставят памятники, и они знакомы мне с незапамятных времен. Это Россия: круглые буквы, особенно круглые и вкусные на заголовке газеты „Утро России". Белые, красные, синие полосы на флагах — тоже Россия. А на карте она огромная, розовая.

Война началась, когда мы жили в Жучках. Кривится чей-то рот — не нянюшки ли грюнталёвских дочек, Тани и Вероннчки: „А заместо серпика прорезался на небе... крестик..." - и уже послышались всхлипывания. Я содрогаюсь, но и приятно, сладостно: холодная рука сжимает сердце и нежно пощипывают подступающие слезы.

Домашний учитель грюнталёвского сына Коли, зовут его Григорий Соломонович, он студент и осетин: круглые синие глаза, веселый, ласковый, вырезает нам свистульки. У нас говорили: „Ему бы только с детьми — сам он ребенок". Его убили чуть ли не в первый месяц войны.

На Пречистенском бульваре гуляют раненые — все улыбаются: рады, что выжили.

Проезжали грузовики с флагами союзных держав: всегда искал глазами белое с красным шаром знамя Японии. Собирал флажки, раздаваемые барышнями на Пречистенском бульваре.

Мать как-то неуверенно сказала:

— Скоро твои именины, хочешь, вместо подарка, отдадим пять рублей раненым?

— Нет, нет, — забормотал сконфуженный, но упрямый себялюбец лет семи.

Еще решительнее было это *нет*, когда некая чужая тетя спросила:

— А хотел бы ты братца или сестрицу?

Тут уж и конфузу не было: разве можно было бы стерпеть такое безобразие! Мы с Мариной гордились тем, что мы-то *единственные*. Помнится, няни и бонны на Пречистенском бульваре расхаживали преимущественно с одним или двумя подопечными, и как я презирал одну, очень выделявшуюся *пятерку*: что котята, щенята! И *фрелина* поддакивала:

— Я бы в такой дом ни за что не пошла!

А горничная Матреша говорила, что трех еще можно выдержать:

— Жила я у англичан, у них дети: Альфред, Вылий и девочка Дэзи — ничего, справлялась...

Постоянно помнил об этой первой заповеди в нашем доме: *все для детей*, и это значит в нашем случае — для меня одного, и родительской любовью я ни с кем делиться не хотел. А была и вторая заповедь: нельзя мучить животных — они чьи-то дети или же — сами матери. Я этого не помню, но знаю по рассказам: ломовик стегал лошадь, а я бил по тумбе и орал: „Нельзя, мужик, нельзя!" Вообще же был трусом, боялся мальчишек и еще больше — смерти.

ПОХОРОНЫ

В белых колесницах везли православных покойников, а в черных — протестантских. Толстая *фрелина*, да и другие *фрелины*, ее преемницы, всегда останавливались и пропускали шествие. В раннем детстве все это нравилось, и дома я играл в *хохороны*. Уже не хоронил ли я и моего Байбака или коров?

А куда эти колесницы едут? Что дальше? Вероятно, одна из бонн мне и рассказала, чем эта игра заканчивается. Зарывают в яму. А если и меня зароют? Это весьма не понравилось. „Еще нескоро", — утешил кто-то из взрослых. Но я уже знал, что и дети смертны: умер же от дифтерита Матрешин мальчик. Похоронные шествия приводили в ужас, хотя к ужасу примешивалось и восхищение: привлекало необычное.

Едва ли меня удручали печальные лица провожающих, но так пугали эти медленные лошади в попонах с широкими отверстиями для глаз, казалось, что глаза их на самом деле такие большие, преувеличенные. Снилось: эти лошади медленно за мной следуют. Я бегу куда быстрее, но почему-то расстояние между мной и лошадьми все уменьшается.

В каждой комнате было по иконе в красном углу, но без лампады, и в церковь меня лишь изредка водила мать, не более, чем на полчаса. Вдруг все опускались на колени. Это мне нравилось и я говорил: как овцы, овцы, они тоже все сразу ложатся! То же самое я проделывал дома с куклами: *бац* и все уже на коленях, и Байбак, и мишка, и слон. Иногда хотелось быть священником: облечься бы в ризы цвета золотой осени и, важно расхаживая по церкви, кланяться и кадить перед иконами.

На отпеваниях я не был, но знал, что священники кланяются, кадят покойнику. Я начал бояться духовенства. Снилось или только воображалось: маленький гробик посередине храма и никого, кроме меня, нет. Вдруг священики выходят из алтаря, улыбаются и, улыбаясь, подымают меня и кладут в гробик. „Хорошо тебе лежать будет, мягонько, куда лучше, чем в постельке... баю-баюшки-баю..." И уже подступают те большеглазые тихие лошади.

Где опора, где защита? Мать от смерти не отвоюет, как не отвоевала сына Матреша: и сама умрет. Одно есть спасение: золотой крестик с голубой эмалью, висящий у изголовья никелированной детской кровати. Это Боженька: радовало, умиляло голубенькое, маленькое, и когда взглянешь на бирюзовые полоски эмали, становилось легче, и я успокаивался. По вечерам, стоя на коленях, на коврике, я твердил Отче наш, Царю Небесный, за маму, папу, тетю, дядю, Марину, *фрелину*, за себя и еще добавлял: „Не дай хоронить попам!"

Церкви тоже начали пугать. Из нашего окна видно было Иерусалимское подворье в соседнем Филипповском переулке. Я различал картину под навесом, у паперти: олень с венчиком вокруг рогов. А вдруг явится и увезет в церковь, где, конечно, меня немедленно отпоют золоченые улыбающиеся бородачи.

На крестике — добрый Боженька, а *фрелина* мне однажды сказала:

— Herr Gott wird dich bestrafen!*

Herr — это господин и, вероятно, очень важный, в высоком цилиндре. Я сразу же увидел его входящим в детскую: он ничего не говорит, только подымает палец, и случается что-то очень страшное. Нет, не отправит он меня в нашу церковь, даже не в свою кирку, а велит закопать меня факельщикам: и они тоже в цилиндрах, но веселые, с сизыми носами.

Последняя моя *фрелина*, самая добрая, Натали, хорошо знала русский язык, и после того, как кто-то изругал нас у памятника Гоголю за разговоры на языке врагов России, мы, по приказу матери, начали говорить на улице только по-русски. Натали любила болтать с Полей:

— Служила я у таких-то... Она — вдова, и рассказыва-

---

* Господь Бог тебя накажет! (Нем.).

ла мне, как рано утром, совсем светло было, спустился к ней с потолка муж-покойник, руки сложены крестом, а вокруг облачко, дымок... Вдова перепугалась, а потом рассердилась: „При жизни не давал мне покоя и еще хочешь досадить после смерти!” Покойник подрыгал в воздухе и поднялся наверх, в люстру ушел...

Все воображалось или снилось: то попы хоронят, то факельщики, то святой олень подступает, то Herr Gott грозится или же покойники спускаются с потолка. А было и так: будто переводят меня с одного этажа на другой, и в каждом — комната похуже, потемнее, а последняя — маленькая, совсем пустая. Куда же оттуда переведут? В небо, к звездам? И я проснулся от ужаса перед огромным мерцающим небом. Еще один повторяющийся кошмар, душивший в первую ночь перед каждой болезнью. Я начинаю расти, и это очень больно, каждый суставчик нестерпимо ноет, и вот уже разрастаюсь на просторе всего неба, обжигаясь о звезды. Вот сейчас лопну, и даже хочется поскорее лопнуть, чтобы избавиться от наваждения.

Читали мне сказки Афанасьева: Баба-Яга, Кощей, домовые, лешие. Было занятно, но не очень страшно. Я поверил матери, что нет никакой сказочной нечисти, одни выдумки. А смерть есть, и после *хохорон* закапывают в яму. Натали говорила мне об ангельских душах усопших детей: готов был ей поверить, но что хорошего на небесах, даже на самых голубых: молока с шоколадкой не дадут, и будет ли там мама?

Мать напевала эту песенку:

Ушки — слушки,
Ротик — котик,
А весь мальчик...?

Я заканчивал: „Круглячок!” Это я — я, который не хочет в яму. Я, играющий в *Ай*, *Петри* или же в „коровы”.

Изредка мне не спалось ночью, особенно в те вечера, когда отец садился за рояль. *Фрелина* вызывала мать. Както она пришла с распущенными на ночь волосами, пахнувшими вежеталем. Я шепнул ей: „Не хочу, чтобы хоронили...” Мать помолчала, и мне показалось, что на щеке ее слеза. Это не понравилось: если плачет, то, видно, охранить не может.

„Помолись Боженьке..." Я представил себе ту голубую эмаль на крестике, и вот эта бирюза изгнала страх. Мы помолились, и я заснул. Но уже на другой день, в сумерках, опять мерещились выползающие из-под крыльев рояля попы и покойники. Чертей я не видел, а на кладбище уже бывал, например, на Новодевичьем. Кто-то сказал: „Здесь Чехов, Антон Павлович..." А там живагинские могилки — родные бабки Елены Семеновны Фроловой, урожденной Живаго. Когда-то их всех тоже везли через весь город и закапывали в ямы. Смерть есть.

А нашу кухарку, толстую Никитишну, похороны веселили. Отрываясь от плиты, она бежала к окну и иногда вывешивалась из него, так что Матреша должна была придерживать ее за ноги.

— Сейчас вынос будет... Генерал... что медалей-то на подушках... Генеральшу выводят... знаю ее, рыхлая, бородавка у ей на лбу...

Страшно, а и мне хотелось бы высунуться. Траурный марш: замедленные, скорбные, но и могучие, ликующие звуки — будто всем праздникам праздник. Очень жутко, но и блаженно, свободно, и забываешь о себе. Никакого Круглячка нету, что-то еще есть, чему имени нет, как тогда, в лунную ночь, в сухановском парке.

В сказках Баба-Яга поедала детей, но это все враки. А вот мне читают „Детство и отрочество" в издании для детей. Кажется, первая книга без приключений, как у Жюля Верна. Николенька Иртенев понятен, мил — и у него умерла мать. Я бы не мог жить без мамы! Картинка: белая покойница в дымном тумане, белесые кружки вокруг свечей. Как же это так?

Матери вырезали слепую кишку.

— Я только на недельку уеду, а ты сегодня получишь пломбир.

Я тогда не беспокоился. У Николеньки умерла мать, а моя не умрет: это в книжках умирают или сосед-генерал, а сейчас этого быть не может, и я уже предвкушал пломбир. Страхи же возникали, когда никакой опасности не было, и чаще всего в сумерках.

Изредка мы гуляли с матерью не по Пречистенскому бульвару, а по арбатскому району, что было куда занятнее. В Мертвом переулке был дом Мертваго, чему не только я дивился. Фамилии на *аго* очень хороши, но лучше называть-

ся, как наши родные — Живаго, или же на худой конец — Зеленаго!

Как-то мы вышли на небольшую площадку Сивцева Вражка, там легкая голубая церковь — Успенье-на-могильцах.

— На костях строена, — поясняет мать.

Неприятно, а все же какая славная церковка, — та же голубизна, что и на моем крестике с Боженькой, и вот взлетит, скроется в небе. Смутно связывалась она и с матерью, теткой, Мариной. В Жучках я их всех сравнивал с коровами, телками, а тут впервые умилило то, что и другие называют красотой. Не помню, как эта церковь выглядит, не узнал бы на снимке. Только зрительное впечатление: голубая. И еще слуховое: Успение-на-могильцах. Что такое *успение* я тогда не знал, но слышалось мне в этом слове *пение:* не осенний ли шелест и вешний звон монашенок, певших в Новодевичьем монастыре?

КЕРЕ́ТАРО

Толстая *фрелина* читает мне немецкую книжку. Ничего не запомнилось, кроме имени героини Гертруды (Гертрудис). Я его часто твердил и мечтал о какой-то необыкновенной девочке, но, кажется, еще более упивался звуками: гроздьями согласных *ртр*. Как восхитительно рокотали они под передними зубами, и нравилось уводящее в какую-то заманчивую даль окончание *—дис*. Позднее *игралось* с уже мной выдуманным потешным, но милым Янчиком и со злым стариком Оэ... Наконец, павлиньим пером диковинных звуков распахнулась география. Я часами просиживал над школьным атласом. Менее всего меня занимала карта России.

— Какие губернии окружают Московскую? — спросила мать.

Я не знал, был пристыжен и должен был тут же их выучить. Впрочем, в России нравилось какое-то странное соответствие между двумя городами на *а*. У Белого моря Архангельск, а у Каспия — Астрахань. Через много лет старая американка, которой я давал уроки русского языка, под Бостоном, тоже вспоминала, что в детстве, ее тоже восхищали эти *А*, т. е. *Эй наверху* и *внизу*, и она их сразу запомнила, но правильно выговаривать их так и не научилась.

Уж не знаю, благодаря ли знакомству с испанцем Донестеве в Суханове, но я особенно увлекался испанской и португальской географией. Знал главные названия на головастом Пиренейском полуострове, в грушевидной Южной Америке и кривоногой Мексике с пятой-лопатой Юкатана. Закроешь глаза и протяжно твердишь: Буэнос-Айрес — это благорастворение воздухов. Или — каркающие Каракас,

Керетаро. В отцовской библиотеке (Papas Bücher) я смотрел картинки в увесистых томах Пяти континентов. Видел старый акведук в Керетаро, и где-то я вычитал, что в этом городе был расстрелян мексиканский император Максимилиан Габсбургский. Но самое это воронье слово жило отдельной жизнью и не связывалось с иллюстрациями и фактами.

В Африке и в Азии мой слух ласкали преимущественно португальские колонии: Мосамбик, Ангола, Мадейра, Азорские острова, Тимор, Гоа, Диу, Макао.

Если что-то во что-то обмакивалось (сухарь в чай), я говорил: *макао* — это был и глагол и существительное. А Гоа и Диу ни к чему нельзя было приплести: но тем лучше! Между ними слышался какой-то диалог, будто два бокала звенят в шкапу. Один говорит:Гоа. А другой отвечает: Диу!

Географию мою я твердил до одурения, в особенности когда мы без конца гуляли по Пречистенскому бульвару, и все досадовал, почему здесь Москва, а не Вальпарайсо? А то мерещились круглые, по-лягушечьи квакающие Парагвай и Уругвай.

Наши изъездили одни *обязательные* в то время страны и, увы, Пиренеи в этот список не входили. После Центральной Европы и Италии их потянуло в Скандинавские королевства : видно, захотелось увидеть модные в то время фиорды Ибсена и Гамсуна (наших с Мариной болванов в карточной игре). Один из живагинских дядей побывал в Испании, а другой, инженер, ездил кочегаром в Соединенных Штатах: и это было тогда модно. Кажется, князь Хилков, министр путей сообщения, тоже подбрасывал уголь в американских локомотивах.

В Южной Америке и в Океании никто не был: значит, и я не попаду в Керетаро, но попал: видел и старый акведук, и Холм Колоколов, на котором расстреляли императора Максимилиана, и диковинные гирлянды херувимов в церквах, и рождественские процессии *посадес*, и тверил — уже не на русский лад Керета́ро, а правильно — Кере́таро.

. . . .

Ирвинг Лионард, *Эпоха барокко в старой Мексике.* Там есть описание маскарада в испанской книге *Славы Кере́таро 1680 г.* Автор — креол Карлос де Сигюенса и Го́нгора,

математик, историк, лингвист, поэт. Родись он в Европе, мог бы быть соперником Декарта или Паскаля. А в Мексике у него почти не было собеседников-гуманистов того же уровня, за исключением монахини Дуаны Инес де ла Крус. И она одолела современную математику, но лучше проявила себя в поэзии, упиваясь „гражданской войной" смелых помышлений и пламенных чувствований: „Кто убегает от меня, того я преследую, кто следует за мной, от того я бегу, скорблю, любя. Кто более достоин порицания — та, которая грешит за плату, или тот, кто платит, чтобы купить:

La que peca por paga
O el que paga por pecar?

И не зная испанского языка, можно уловить в этих стихах звуковые повторы: peca, paga.

Сигюэнса, рассеянный профессор, одержимый цифрами, редко читал лекции и почти все его жалованье уходило на уплату штрафов за непосещение аудитории. Узкое бледное лицо, жалкий хвостик бородки, очки в тонкой оправе — чем не русский интеллигент-нигилист шестидесятых годов? Но великолепный росчерк подписи, завершаемый восьмеркой... и нашел он время написать брошюру о *Славах Керетаро*. Впереди выступали раскрашенные чичимеки в одеяниях, сшитых по рисункам в мексиканских иероглифных летописях. За ними шествовали древние цари с труднопроизносимыми именами — Тлоцинкухтли Ихтмихотатль и сам премудрый Нецахуалькойтль, будто бы веровавший в единого Бога. Отбивали дробь на туземных барабанах — тлальпан-хуэхуэтль, и Сигюенса восхваляет „элегантный" язык ацтеков — нахуатль. Прежде испанцы сжигали драгоценные кодексы, разбивали идолища поганые и недоверчиво относились к ученым монахам, изучавшим тольтекские или майанские древности. Инквизиция и теперь косо посматривала на такие ученые занятия. Но маскарады с шествием языческих святых допускались. Чтобы выше расценивать победы испанского оружия, нужно было показать величие и силу побежденных. К тому же, того требовали барочные вкусы — любовь к ошеломляющим зрелищам. За несколько десятилетий до этого маскарада в Керéтаро архиепископ фрай Гарсиа Гуэрра устраивал бой быков в Великую Пятницу и не побоялся даже ощу-

тительных проявлений гнева Божиего — сотрясения земли именно в этот день в столице Мехико.

За туземными царями ехал во всей своей земной славе великий кесарь Карл Пятый, а далее — в славе Царствия Божиего сияла Мария де Гуаделупе — Богородица в образе ацтекской девы. Икону обрамляла диковинная раковина и вокруг клубился сизый дымок фимиама.

Сколько перьев было на шлемах всадников, сколько лент, шарфов, сколько флагов, что трудно было разглядеть человеческие лица и конские морды. Все медленно текло, колебалось, курилось, будто проплывал пернатый дракон древних мексиканцев — Кетцакоатль. Вот зрелище, которое я готов был подарить тому противному мальчишке, который мечтал о таких спектаклях и все искал причудливые слова. Он легко выучил бы и это семиэтажное словечко на „элегантном" нахуатле: хи-ухт-лаль-пиль-ти-кант-ли — так называется вышивка по иероглифному рисунку.

Мы уселись на завалинке, где-то на задворках старого конвента. Везде красные, будто бы из бумаги вырезанные Рождественские цветы, напоминающие мак, а по тропинке ползают трудолюбивые муравьи — крохотные восьмерочки с подписи витиеватого Сигюэнсы. Будто полдень в Суханове, и мы собрались с Мариной и Полей собирать на пригорке влажно-пунцовую землянику. И это Керетаро, да еще в декабре месяце — мое бессмысленно-блаженное мечтание московского детства. Все четко вижу и даже осязаю — хотя бы эти красноватые колонки, увенчанные туловищами чичимеков или ацтеков в бывшем августинском монастыре. Эти фигуры чем-то напоминают ангелов со сложенными крыльями в римской церкви Сант'Андреа — измышление мрачно-причудливого Борромини, покончившего самоубийством.

В Сочельник по городу проезжали грузовички, покрытые цветочными гирляндами, с посиневшей от вечерней сырости девочкой-мадонной. Пробегали юркие мальчишки в масках демонов и Иуды Искариота. Зажглись огоньки в тускловатых глазах современных чичимеков, фукают римские свечи в ручонках чуть ли не грудных младенцев... А то ли было в 1680 г., когда народные денежки тратились не на аптечки-библиотечки, а на перья и перлы неудержимой барочной фантазии, и суровые инквизиторы ликовали

не меньше, чем уличные мальчишки, которые лучше всех знают, в чем смысл жизни: в праздновании чего угодно! А сколько тогда крали на поставках разноцветного оперения, едва ли меньше, чем теперь при постройках школ и больниц.

Опять сетую: почему нельзя одарять себя самого в прошлом. Бросил бы *я ему*, т. е. десятилетнему себе, хотя бы несколько непроизносимых нахуатлей на Пречистенский бульвар, где-то у клюющего носом Гоголя, и *он — я* тоже восхитился бы мексиканскими перьями и созвучиями.

КРАСАВИЦЫ

Осенью шестнадцатого года обе наши семьи поселились вместе, на нашей квартире, так что пришлось уплотниться. Думали, всего на год, до ожидаемого окончания войны, а вышло иначе. Я радовался тому, что с нами будет Марина.

Шерстяные мои куклы были уже в загоне, но я вдруг увлекся новой игрой. У каждого из нас было свое царство-государство: в Марининoм царила ее Красавица — серая кошка, а в моем — серая собака. У каждой из Красавиц был принц-супруг: желтый медведь и белый слон. Наряжали их в тряпки с лентами, вырезанными из старых отцовских галстуков. Помнится, одна династия со всем дворцом гнездилась на секретных полочках под роялем, откуда, как мне прежде казалось, выходили по ночам попы и покойники. Только и слышалось: моя Красавица, твоя Красавица. Ссорились, воевали, писали какие-то грамоты с гербами.

Игры продолжались и летом, но уже не в Суханове, а, увы, в дачной местности, куда ближе было ездить, около станции Бутово, которое мы про себя называли наоборот, читая с конца — Овотуб.

Совершался своего рода высочайший выход: обе Красавицы восседали на плетеном креслице вместе с принцами-супругами и придворными. Напоследок я бережно оправлял мантии и любовался ими, отойдя на шаг. Потом я высоко подымал креслице и несколько раз с гиканьем крутил его над головой: августейшие куклы летели вверх тормашками в канавку и даже за забор, на дорожку. По-видимому, нравился контраст между величием и позором.

Было и упоительно и как-то жалостно: после все августейшие особы перевязывались и укладывались спать.

В те годы природу я мало замечал: ходить по грибы было делом-игрой, я уже умел примечать *места*, где растут боровики, но всякие любования красотами не признавал. Гораздо позднее я полюбил северную осень: листва желто-пергаментная или парчовая — красная, золотая, везде царское величие, и вот листья осыпаются, чернеют в лужах и распадаются на сухой земле: тот же контраст роскошной Византии и жалкой нищеты, что и в моей безумной игре с разлетающимися разноцветными Красавицами и присными их. Марину это *верчение* совсем не восхитило, равно как и Полю, и оно больше не повторялось.

Игра в Красавицы началась незадолго до революции и не имела ничего общего с падением российской империи. Да и прежде мне нравилось все *высокое* и *низкое*, нравилось потому, что и то и другое было скорее редкостью. Восхищали дамские страусовые перья на Пречистенском бульваре, на Арбате, а также пугающие султаны на похоронных лошадях. Нравились и всякие странные люди, убогие вроде гугнивой Тани в Жучках или тот волочащий ноги молодой человек. Как-то напугал юродивый: „Метелки, — бормотал он, — метелки..." — и вырывал клочки из рубища. Веселенький, давится со смеху, и именно от этого особенно жутко. Но дома я, конечно, подражал ему, пытаясь отдирать пуговицы от матроски и блаженно хихикая. Мерещился волшебный мир, где все перемешано: высочайшие выходы, похоронные шествия, гугнивые юродивые, шуты гороховые, какие-то великолепные празднества и безумные потасовки, коронации и карнавалы. Тогда хотелось твердить первые попавшиеся на язык географические названия — великолепные, как Рио-де-Жанейро, зловещие, как Каракас, Керетаро, потешные, как Гоа и Диу, идиотические, как Фиджи, Тонга-Тонга.

Уже водили меня в театр на дневное представление „Синей птицы" в Художественном театре. Но запомнилась только сидевшая недалеко от нас японка в алом кимоно, кажется, жена дипломата. Сам бы так вырядился! Были и у Незлобина и на опере в Большом театре, бывали на цирковых представлениях Дурова. Вероятно, все эти зрелища нравились. Но все сразу забывалось. Я предпочитал мои собственные спектакли, и в играх наших с Мариной, и в

мечтаниях, за атласом. Да и в жизни было столько ошеломляющих впечатлений, питающих воображение.

Кто-то подарил мне Генеалогические таблицы — пособие для учеников средних учебных заведений. Сразу — влюбился в эти разноцветные кружочки, хитроумно связанные линиями бокового и прямого родства. Максимилиан женился на Бургундии, сын его Филипп — на Испании, а внук получил земли, в которых никогда не заходило солнце, включая милую Южную Америку.

Ну и ловко же получилось! Дядя подарил мне ко дню рождения мой первый Готский календарь: красный томик с золотым обрезом, и на сафьяне вытеснен 1858-й год, французское издание. И я часами вычерчивал родословные. А к именинам он же обрадовал меня календарем 1914 г. Новая генеалогия нравилась больше старой. Вот у герцога Пармского было от двух жен двадцать четыре потомка: дочь Цита вышла за австрийского императора, другая была за Фердинандом Болгарским, а остальные — за кого они выйдут замуж? И я уже приискивал им женихов среди прочих Бурбонов или Габсбургов. В газетах об этом не писали. Мы уже жили в РСФСР, мать и тетка грозились сжечь все мои таблицы и даже драгоценные календари. А что если найдут при обыске? Но я повадился ходить на Моховую, в Лавку писателей. Краснея, спрашиваю: „Нет ли у вас готских календарей?" Продавец-писатель — был ли это Бердяев или Гершензон, — улыбаясь, вел меня на второй этаж-балкончик, куда я потом ходил, уже никого не спрашивая. Морганатические браки удручали, потому что, как мне казалось, портили красоту и генеалогии, и географии. Черногория вышла замуж за Италию, Франция за Португалию — это красиво, весело, а зачем эти князья Юрьевские или графы Карловы?

Дядя говорит, снимая пальто:

— Совсем как в Пятом году.

А тетя отзывается:

— Началась заворошка!

С Пречистенки тянутся к Храму Христа Спасителя „демонстрации", черная толпа, а флаги красные. Люди толпятся кружком около ораторов. Некто что-то хрипло выкрикивает, и каждые десять секунд лицо его искажается тиком, левая щека слезает куда-то на сторону. Валятся двуглавые орлы с каких-то ворот — и все это нравится.

Я где-то нашел бронзовую медаль с изображением танцующей Свободы и нацепил ее на красный бант. Так вот расхаживаю по Пречистенскому бульвару. Дома же гадаю, за кого выйдут замуж дочери герцога Браганцкого или же передразниваю гримасничающего оратора, а потом играю с Мариной в наши Красавицы...

Дней пять мы провели дома, изредка выходя на большой внутренний двор, куда собирались и прочие обитатели четырехэтажного комбината, принадлежавшего страховому обществу. Называлось оно не то *Россия*, не то *Жизнь*. На Арбатской площади, под самым носом носатого Гоголя — сражение: ядро пробило брешь в стене нашего дома, со стороны Филипповского переулка, где та самая пугавшая меня картина со святым оленем. Из предосторожности мы почти весь день проводили в коридоре, играя в Рич-рач или „Тише едешь — дальше будешь!" Все играют: и Марина, и Поля, и наши отцы, матери. Не помню, чтобы кто-нибудь боялся, а я всегда любил необычное. На дворе ораторствует присяжный поверенный Микенафф, и у него тик — нервное почесывание носа и выворачивание шеи из белейшего накрахмаленного воротника:

— Двенадцать лет состою в партии меньшевиков и этого безумного восстания большевиков не одобряю...

Я его, конечно, передразнивал...

Юнкера, засевшие в юнкерском училище, — герои. Но их одолели злые большевики, которых ненавидит и Микенафф — *тюремный сиделец*, как он себя называл.

Настежь открылись ворота, и я выхожу в Большой Афанасьевский переулок. Посмеивается ражий дворник, вероятно из унтер-офицеров:

— Все проходит, и солнышко сияет...

Из пекарен и булочных несут караваи и булки. Голод начался в следующем году. Помнится, у нас были прикоплены мешки с мукой, картошка и дрова.

Правят Ленин и Троцкий. И все говорят, скоро их прогонят. А я вычерчиваю новую генеалогическую таблицу.

В какой-то газете я увидел растерзанную фигуру женщины с надписью — „Угнетенная Россия"... Меня радует, что я эту газетную аллегорию понял. А жизнь наша еще мало чем отличается от прежней, только синеватый кусочек рафинада теперь столь же привлекателен, как прежде шоколадные медвежьи языки от Эйнема.

ФЛЁРОВСКАЯ

Книги: их было много, и я умел читать. Но до девяти лет прочитывал только заданные уроки.

Фрелина читала мне по-немецки, мать и курсистка-учительница — по-русски, а приходившая к нам с Мариной mademoiselle — розовые книжки графини Сегюр: "Les malheurs de Sophie ', "Le bon petit diable".* Дважды читали мне всего Жюля Верна, "Русскую историю для детей", Тургенева, Толстого — для младшего возраста, сокращенных „Робинзона", „Дон Кихота".

Это утро навсегда запомнилось. *Фрелины* уже не было. Я рассматриваю картинки в „Таинственном острове". Заглянул в текст, как-то случайно прочел страницу — и пошло! Начал сам читать, и у меня уже отнимали книги: „У тебя глаза слабые!"

Татьяна воображалась героиней, а я воображался героями — и капитаном Немо, и сыном капитана Гранта, и Николенькой Иртеневым. Было весело, занимательно и кое-кого хотелось изображать. Так, я встречал сходящего на английский берег Филеаса Фогга: „Именем королевы я вас арестую!" Но воображение обеднело, я реже „творил" из того, что попадалось в поле зрения и слуха: из Иванова — ванные, из Ай-Петри — Ай, Петри. Испарился и Янчик со старцем ...Оэ, жившие в башне сухановской дачи. Игра в *Красавицы* была последней моей выдумкой. Но география и генеалогия еще долго одуряли звуками.

В Бутове-Овотубе было несколько десятков дачников, и были у них сыновья моего возраста. Они играли

---

* „Злоключения Софи", „Славный малый" (франц.).

в футбол, в *казаки-разбойники.* Всеми верховодил смуглый Боба Аристов. А я мальчишек побаивался, но и не без зависти наблюдал за их играми.

Сижу один на скамейке, и вот меня уже окружили плотным кольцом.

— Сдавайся! — говорит Боба. И я сдался...

Не побили, даже не обозвали трусом. Аристов меня неожиданно выделил и гулял со мной отдельно от других. Таинственно напевал: „В далекой знойной Аргентине, где небо знойное так сине..."

— А я знаю, где Аргентина. Она заканчивается Огненной Землей...

— Неважно... Это танго, вот что важно, и старший брат умеет танцевать. — И Боба показывал мне *па* с приседаниями... — О чем ты думаешь утром в постели?

— Смотрю на сучки в стене... разные узоры...

— Глупо... а я думаю, что мне надеть: летний ли китель или матроску? Мы уже не дети, предпочитаю тужурки...

Знаю, все мое, будь то география и тем более генеалогия, Бобе не по вкусу, только высмеет, но я об этом не тужу, все в Аристове мне нравится: он и атаман казаков-разбойников, и франт, танцующий танго.

Покровительство Бобы избавило меня от поддразниваний и тумаков прочих мальчишек, которым, конечно, не нравилось, что я вроде белой вороны: в футбол не играю и вообще мало с ними общаюсь.

Полуразвалившийся дровяной сарайчик, на крыше Боба со всеми мальчишками. Усадил меня рядом:

— Какой ты телепень!.. — На людях он иногда задирал меня форсу ради. — Вот не спрыгнешь с этой крыши!

Я только взглянул на него и неожиданно для самого себя уже сидел на корточках под сараем. За мной и другие спрыгнули.

Я вошел в раж:

— Я первый соскочил, и это мой сарай, хочу один сидеть на крыше!

— И сиди, а мы поведем правильную осаду! — крикнул Боба.

Все начали кидать в меня кусками дерна. Засыпало глаза землею и я окривел. Расшибло губу, и я выплевывал труху с кровью, но не сходил с вышки. Через час лег на живот, прикрывая голову руками.

— С убитым противником не воюют, — провозгласил Боба, и все мальчишки разошлись.

Дома мне промыли глаз борной, и отец драку одобрил:

— Надеюсь, и ты им всыпал! А губа до свадьбы заживет!

В сентябре я с трепетом вошел в класс Флеровской гимназии (на Тверском бульваре). Школу ненавидел: был и остался белой вороной, и мое первое общение с мальчишками в Бутове мне не помогло. Не было в классе моего героя — другого Бобы Аристова, который „подарил бы мне дружбу" и тем самым способствовал бы даже некоторому героизму.

Такого-то вызывают с задних скамеек, и он, проходя мимо, конечно дает мне по загривку. Сосед мой по парте Костя Старостин. Имя подстать внешности: бледный, горбится — вообще, старый. Тоже белая ворона, но его никто не трогает. Главный мой мучитель верзила Балашов. Посадит на подоконник и делает „массаж": мнет щеки, отдирает нос, уши: „Это для твоей же пользы... Глядите, как я ему распарил лицо, совсем красное стало, даже лиловое!"

Жестокий Балашов нежен с другим мальчиком. Зовут его Иосиф Гиршман. Он маленький, розовый, ямочки на щеках, в бархатной курточке с белым бантом — и уж не знаю, как ему позволили так одеваться, все мы были в серых гимнастерках и голубых шинелях с серебряными пуговицами. Но гимназия была частная и знаменитая „либеральностью". Если бы я так вырядился, то Балашов наверное повесил бы меня на шелковом банте...

На перемене Гиршман с визгом бегает взад и вперед по скамейке, а Балашов хватает его за руки — хочет стащить, вернее, только делает вид, что мешает. Смотрю на них с завистью. Как-то и я решился вскочить на ту же скамейку.

— Не надо тебя! — крикнул Гиршман, а Балашов так меня подрезал ладонью, что я свалился.

Это уже была кровная обида, и все-таки я опять с восхищением наблюдал их игру.

— Ну как, научился драться? — спрашивал меня отец. — Никому ничего не спускай!

А я именно спускал, помалкивал, и даже матери не жаловался на злых мальчишек. Знал — она помочь не мо-

жет, и еще стыдно было; я хорошо понимал — они правы, а не я. И в мечтах, одолев огромного Балашова, заменял его в играх с Гиршманом. Плакал дома, запираясь в уборной, но не в школе, даже когда меня Балашов „массировал". Только не это... И я закусывал губы, язык... А то скажут плакса, да и хуже будет!

Мальчишки устраивали побоища у кафедры. Одной армией командовал Балашов, а Гиршман, не принимавший участия в драке, понукал его одобрительными криками. Как страстно хотелось броситься к противникам Балашова — врезаться бы головой в его живот, свалить! Но я так и не решился, а вот в Бутове воевал один против всех.

Учился я плохо: не давалась арифметика с ее бассейнами и поездами. Неожиданно я забыл немецкий язык и получал двойки за диктовки. С французским было легче, помогло чтение розовых книжек графини Сегюр. Уроков я не готовил: времени не было, все корпел над моими атласами и Готами. Но по русскому языку спасала глазная память, у меня почти не было ошибок, а сочинение мое о Крыме было признано образцовым и читалось вслух.

Немая карта, мне велят показать острова Океании. Я их все знаю, включая и те, которых нет в учебнике.

— В первый раз встречаю такого географа, — дивится учитель. Но вскоре пришлось ему во мне разочароваться: я не мог отличить Лену от Оби... Вообще реки меня не занимали и к русской карте я был равнодушен. Радовали только Архангельск и Астрахань *наверху* и *внизу*, да еще, пожалуй, сибирский Семипалатинск.

Классный наставник, он же инспектор, зовут его Родзевинчук. Черная борода, пристальный взгляд из-под приспущенных очков, как у деда Живаго на автопортрете. Он все ко мне присматривался и однажды вызвал мать.

— Ты не ладишь с товарищами, все держишься в стороне, сказал мне Родзевинчук. Это его беспокоит и меня тоже...

А я вру:

— Что же мне, бросаться чернильницами? Дружу со Старостиным. Можно его пригласить?

Старостин скучен, нуден, у него оттопыренные бескровные уши, терпеть его не могу, но все же с ним разговариваю: какой ни на есть сосед. Он пришел к нам и неожиданно заявил, что хочет играть в солдатики, которых

я ненавидел. Туда же лезет эта бледная немочь!.. А вот Иосифа Гиршмана не пригласишь: не пойдет!..

По утрам меня сопровождала Матреша. Кое-кто издевался: „Его нянька в гимназию водит!" Водили и Старостина, но мальчишки как-то не замечали его. На Тверском бульваре нас иногда окликал уже совсем взрослый гимназист, пятиклассник — старший брат Гиршмана:

— Что вы так ползете? Или тише едешь — дальше будешь? — посмеивался он, но не зло, и все спрашивал, что я дома делаю.

Генеалогию я скрыл, но сознался в увлечении географией:

— Знаешь, кому принадлежит Гвиана? Англии, а Кайена Франции, Суринам Голландии!

— Так тебе пора перейти к нам в пятый класс!

Я разошелся и уже молол всякий вздор о потешных Гоа и Диу, о Макао — что значит обмакивать.

Гиршман-старший — тоже розовый, круглый, но без ямочек, зато черный пушок над губой. Оба сдобные, пасхальные, ходят на Закон Божий: православные евреи. Но в школе старший Гиршман меня не видит, не замечает: и я не обижаюсь, пятикласснику не приличествует разговаривать с первоклассником.

Жизнь шла по параллелям, которые иногда сближались, но не сходились. Гимназия была по ту сторону всего того, что было дома, и даже по ту сторону революции. Кажется, в октябре-ноябре мы недели две не ходили в школу, но я этого перерыва не помню. Заворошка согнала нас в коридор, где мы все играли в рич-рач и, следовательно, она была связана с домашней жизнью.

Прогуливаясь с матерью по Пречистенскому бульвару, я часто встречал товарищей и всегда, краснея, от них отворачивался. Не хотел, чтобы они знали, какая у меня мать, и не хотел, чтобы она видела этих мальчишек, которых я иногда ненавидел. Особенно противны были их обезьяньи цапки — с обгрызенными до мяса пальцами или же с длинными траурными ногтями. Правда, иногда эта ненависть осложнялась и завистью. Но домашние ничего не должны были об этом знать, как и об обожаемых братьях Гиршман. Соседа моего Старостина я пригласил неохотно. Побывал и у него. И на этом общение кончилось.

Дома тоже многое проистекало параллельно: одна

линия — игра с Мариной в Красавицы; другая, тайная, мечтательная — Манагуа в Никарагуа. И как это хорошо, и никому до этого дела нет, а у Дании и Швеции родился сын и его избрали на норвежский престол, и только меня одного это радует и веселит. Третья линия — книжная: после свыше одобряемых книг, будь то Жюль Верн или „классики" для детей — „Детство и отрочество", „Записки охотника" с обливаемой слезами „Муму", я увлекся грошовыми приключениями Шерлока Холмса и Ника Картера, каждый выпуск в сорок восемь страниц. Особенно увлекала какая-то серия с японскими шпионами в Америке. Книжки эти отнимали, жгли в печке, но я убегал с ними в лес или же читал в уборной. Но года через два они надоели, и я начал читать романы и повести Тургенева. В сумерках мерещилась Клара Милич, ночью скреблась таинственная *Собака*, ошарашивали непривычные „плохие концы": Зинаида умерла, Инсаров погиб, Лиза ушла в монастырь.

Что такое „первая любовь", „роковая любовь": до этого еще надо дожить, и это самое важное! Ирина входит в бальном платье, спрашивает Литвинова:„Хочешь, сорву этот венок, никуда не поеду?.." Но уезжает и уже не вернется к *нему*. Любовь — не тот ли это электрический ток, который по наущению мальчишек я как-то пропустил до самого плеча, вложив палец в дырочку штепселя? Сухие стрелы в крови, в мышцах: больно, жутко, а не хочется от этого мучения избавиться.

А вечером, после машинальной молитвы перед крестиком с незабудковой эмалью, по воскресным утрам, когда можно понежиться в постели, по пути в школу и из школы, во время уже нечастых прогулок по Пречистенскому бульвару, или же отрываясь от неразрешимых задач с бассейнами и поездами, параллельные линии в мечтаниях моих сходились и завязывались в причудливые узелки. „Руки вверх!" — кричит японец. Ник Картер их поднимает, и в каждой зажато по револьверу, взвивающемуся вверх по скрытой проволоке... Старший Гиршман поражает верзилу Балашова, и я бегаю по скамейке с его братом Иосифом... Загудели все московские колокола: мы только что убили Ленина и Троцкого... Да, Ирина, не уезжай на бал, останься! Какая она бледная, как жалко улыбается... Она моя Красавица, а не серая Собака... От стены отделяется невесомая бумажная Клара Милич: „Неужели ты меня

позабыл?..” Бельгия вышла замуж за Мексику, и меня расстреливают в Керетаро... Из детской сказки выпорхнула райская птица, и имя ее Вальпарайсо. В Суханове мать упрекнула меня за то, что я слишком долго выбираю конфету из необъятной бонбоньерки княгини. А в книгах, мечтаниях еще больше конфет... или же столько найдено грибов в сухановском лесочке, что их не вместить в кошелку!

Стихи: *фрелины* заставляли меня заучивать немецкие вирши ко дням рождения и именин отца и матери, их еще надо было переписывать на листочке, украшенном ландышами и розами. Позднее преподносился и читался стишок: „Как мой садик свеж и зелен...” или „По небу полуночи ангел летел...” А когда я начал читать без разбору, то заглянул и в маминого Пушкина, переплетенного в коричневый переплет с золотыми буквами. Прочел и „Евгения Онегина”, узнал многие стихи, слышанные от матери и тетки: „...мы все учились понемногу...” „Адриатические волны...” Но очень мешали рифмы: *мой* Тургенев все это описал бы куда лучше!

Со Смердяковым я еще знаком не был, но, вероятно, согласился бы с ним: кто же говорит в рифму?

Лето восемнадцатого года. Боба Аристов не приехал, многие дачи пустые. Прислуги нет, Поля ушла, я хожу с бидоном за молоком на салтыковский хутор. С пудом муки приехала Даша, бывшая горничная тетки: „Муслянóе платье отдадите, розовое?” — „Конечно, но на что оно вам?” Даша хитро улыбается: „А чтобы похоронили меня в муслянóм платье...” И она увязала муслиновое платье в кусок полинявшего кумача.

Летом мне попалась растрепанная хрестоматия: по ней училась мать. Под жужжание неизбежных мух я открыл томик наудачу:

С белыми Борей власами
И с седою бородой...

Кто Борей? Почему власы белые, а борода седая? Оды на рождение порфирородного отрока я не дочитал, но стихи эти постоянно бормотал, как прежде Монтевидео или Гвадалахара... Ударные гласные сами собой завывали: с бе-е-лыми... с се-до-ою... Хотелось еще помавать главой и вскидывать десницу.

Не тогда же ли Пушкин открылся на незаконченной „Юдифи":

Главу покрыв золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом,
И внял ему Всевышний царь...

Я тайком унес щепотку золы в фунтике, и у зеленого пруда за липками во весь голос завыл, посыпая лохмы золой и пылью. Еще прилепил намоченный слюной покалывающий серый мох: так что был и с *седою бородой*. Таких стихов в моей хрестоматии „Живое слово" не было, и прогрессивный автор даже не пожелал включить Державина, непонятного для детей младшего, а также и среднего возраста. Да, все непонятно, но и волшебно — упоительнее всей Южной Америки, всех тургеневских барышень, всех принцев Готского альманаха, всех наших Красавиц, всех Гиршманов, всех сыщиков. В хваленом „Евгении Онегине" салазки, Жучка, мальчишка, „а мать грозит ему в окно". Что тут хорошего? Будто я всего этого не знаю? А тут ничего не понимаешь, не смыслишь, а как воется на вольной воле, зола слепит, вяжет язык, мох приходится придерживать рукой, и какое это ни с чем не сравнимое счастье! Но об этом никому нельзя говорить!

ХОЛОДНО-ГОЛОДНО

Последние две зимы в Москве — с восемнадцатого на девятнадцатый и с девятнадцатого на двадцатый. Звонят в медный колокол, и я выбегаю на двор. Выстраивается очередь. Ржаной хлеб с желтинкой разрезает Николай Иванович. Все молчат и как завороженные смотрят на его пожелтевшие от табака пальцы. Дадут ли еще привесочек к нашей порции? Бледная немолодая барышня Глазунова — все ее с матерью жалеют. Расстреляли их сына-брата — юнкера.

Крики на дворе. Николай Иваныч указует желтым перстом на барышню Глазунову: „Воровка! Выкладывай из кармана ломоть...” Она выложила, и нельзя на нее взглянуть.

— Если бы не мать твоя, Божия старушка, вызвал бы милицию, за такие дела пускают пулю в затылок!

Рассказываю об этом дома. Слезы на глазах у матери и тетки:

— Вот дожили... отец был архитектор, а брат...

Кто же, наконец, убьет Ленина и Троцкого?

Прежде Николая Иваныча не замечали, жил он в квартирке около дворницкой. Говорили, отдавал деньги в рост, по малости, а теперь все заискивающе его благодарят. Подкинет ли он заманчивый привесочек, который слаще всех конфет и пирожных Эйнема, Бюрбана, Сиу. Желтые пальцы хлебодаря священнодействуют над весами...

Иногда мы ходим на Смоленский рынок. На „Известиях” или „Правде” разложены товары: горжетки, муфты, фраки. „А сапогов-то не видно”, — укоряет толстая сытая баба из подмосковной деревни.

Иногда встречаем нашу mademoiselle: у ней больше товаров, вероятно, берет на комиссию. Она огромная швейцарка из Нейшателя, голова Нерона — и не унывает. Рассказывает, как о ее рукав высморкался un moujik: пришлось вылить последние капли одеколона. И я ее потом передразниваю. Вообще на Смоленском весело, и я тоже торгую какими-то старыми матросками. Но невесело вытирать посуду, накрывать на стол, а мать и тетка орудуют на кухне, поджаривают на конопляном масле котлеты из сладковатой конины или варят белую пшенную кашу, и ее мы посыпаем корицей, которая продается без карточек.

В нашем доме поселился брат немецкой бабки Onkel Willy. Он научил нас делать оладьи из кофейной гущи, поджариваемые на касторовом масле, — их мы тоже посыпаем корицей. Похожая на ископаемое заскорузлая вобла. Но она очень хороша: сухая, твердая, и сколько жира!

Меня взяли из Флеровской гимназии и отдали в другую, которая поближе, в Хвостовскую, женскую. Началось смешанное обучение, но мальчишек там было меньше, чем девочек, что мне нравилось. Провожаю разговорчивую Тоню, она из *Кыева* и смешно хакает. Однажды она меня очень удивила: „Прочти „Яму" Куприна, только матери не *ховори*, а то она тебя выдерет!" С ней же я встречался в музыкальной школе Зограф-Плаксиной. У меня нет слуха, но благодаря глазной памяти легко заучиваю ноты, и даже выдержал экзамен в следующий класс: отбарабанил Le chant des matelots. Учительница Анна Ивановна Розанова: красные щеки и очень нетерпеливая. Как-то трахнула моей ладонью по клавишам. Вполне ее оправдываю, но и я мучился, разыгрывая дома гаммы.

Мать была сторонницей музыкально-ритмического воспитания. Водили меня и в классы эвритмии: мы расхаживали под музыку и однажды выступали на вечере. Но залу перестали топить, а гостиную, где стоял рояль, заперли, так что кончилась моя музыка и моя ритмика.

В школе учились понемногу. Учительница сожгла магний и, с торжеством показывая нам белый порошок, воскликнула: „Получилась магнезия!" На опытах я скучал, но это вот заворожило: был магний и получилась магнезия.

На дворе мы часто встречали важного бородатого мужа Хвостовой — профессора. Посматривал он на нас

с каким-то ужасом, будто мы не девочки-мальчики, а привидения.

Тоня, захлебываясь от восторга, шепнула: „А Веньямин-то Михайлович покончил с собой!" Впервые известие о смерти было страшно не только потому, что приснится покойник, а потому что я понял: конечно, из-за большевиков!

На Пречистенском бульваре все смотрят, как бродячий художник зарисовывает брюнета в пенсне — новенькая кожаная куртка, и кто-то шепчет: „Чекист". Вот и из-за него *ушел* Веньямин Михайлович Хвостов.

Сижу с матерью в садике около Храма Христа Спасителя. Рядом с нами молодой человек, Некто, небритый и лузгающий семечки, перед ним вытягивается: „Здравия желаем, ваше благородие! Ну, как живется-то без погон? У меня глаз наметанный, сразу вижу — выправка!" Нельзя было взглянуть на проворовавшуюся барышню Глазунову, и теперь нельзя посмотреть на соседа. Прежде, к великому моему возмущению, в этот самый садик не пускали раненых нижних чинов, а теперь издеваются над подпоручиком, и как будто оба зла уравновешены на медных весах, на которых желтопалый Николай Иваныч развешивает карточный хлеб. Но я уже понимаю: все-таки я с ними, с барышнями, с офицерами, и не только потому, что сейчас им хуже.

До революции у нас только изредка захаживали в церковь, и мне там все нравилось: самому хотелось кадить! Но потом отпугнули хоронящие меня в кошмарах бородачи в золоченых рамах. А теперь мы часто бываем в Храме Христа Спасителя. Служит патриарх, мне он казался старцем: борода не седая, как у Борея, а особенная — белейшая, атласная, тяжелые треугольные веки. От усталости он едва лепечет, благословляя после богослужения: „Во и....а-и-ы...инь". Я целую пухловатую руку. Понимаю — только один он у нас есть: патриарх московский и всея Руси.

Как-то мы сидели, может быть, на той самой скамейке, где соседом нашим был обличаемый офицер. А сейчас рядом с нами тоже молодой человек, который все беспокойно оглядывается, вертится. Обернулись и мы. Приближается ветхая карета. Сосед наш сорвался, и вот уже он на коленях, а в окошке мелькнули белый клобук и благословляющая рука.

— Может быть, юнкер, на юг пробирается, — шепнула мать.

Теперь все другое: хлеб — другой, слаще шоколада, и церковь — другая, с единственной надеждой — патриархом. Смерть — тоже другая: уже не тянутся великолепные процессии с жуткими лошадками в белых попонах. Некрашеные гробы развозят на детских салазках. Покойники уже не будут пугать в сумерках. Ни профессор Хвостов, ни юнкер Глазунов — над ними синеватыми клубами подымается *вечная память* и отзывается в гулких сводах Храма Христа Спасителя. А юнкер, павший на колени, может быть, доберется до белой армии, которая...

А игры те же: магний превратился в магнезию, я все так же твержу Костарика, Гвельфы, с белыми Борей власами и дочитываю Тургенева. Но некоторая вялость. Кто-то принес желтые томики Диккенса, прочитываю Пиквика, Копперфильда, Домби, смеюсь, плачу, но ничего не запомнилось — может быть, восприимчивость ослабляло недоедание.

Марина заболела корью и уже на третий день начала поправляться.

— А теперь и ты готовься...

Я скорее любил, когда *жарок* укладывал меня в постель. Уложил он и на этот раз, и я тоже начал было поправляться, но откуда-то надуло, хотя открытых форточек у нас панически боялись. Вдруг кошмар, и я опять перерастаю Москву и упираюсь распухшей головой в раскаленные звезды. Крупозное воспаление легких: черные мушки на груди, сотрясающий кашель, все кружится-вертится. На столике полно безделушек, которые я начал собирать, и все их теперь приносили: слоны, ларчики, ракушки, а смотреть больно. Синие глаза наклонившейся ко мне Надежды Михайловны, нашей жилицы: была она *сестрой* и вот приходила впрыскивать морфий.

Я проснулся ночью: не кашляется, но все еще это верчение-кружение. А вдруг умру? Но нисколько не страшно, и я знаю, что этого не будет. Страхи никогда не связывались с наличной опасностью. Веселый Гольд — седые волосы бобриком — недавно привел профессора. Это называется — консилиум. Велели поставить еще одну мушку и дать вина, которое удалось достать отцу, и все будет хорошо. На самом деле все должно было плохо кончиться: ни

Гольд, ни профессор не обнадеживали. Полное изнурение организма. Я же, паче чаяния, заснул непробудным сном: и это называлось *кризис*. Начал медленно поправляться.

Гольд смеялся, поглаживая щетинистый бобрик:

— А ты, братец, нас удивил...

После его ухода я возмутился:

— Как так удивил? Значит, я был серьезно болен?

— Ну, успокойся. Мучительно, а совсем не серьезно!

Потом мать говорила:

— Я-то все знала, но как-то отложила мысли, запретила себе думать и не думала. Только присматривала.

И это *только* означало бессонные ночи, переворачивание подушек, обмывание пролежней: я провалялся около трех месяцев.

Веселое апрельское сияние, и я читаю „Войну и мир". Все сразу навсегда запомнил. Книга ни на что не похожая, включая уже давно прочитанное „Детство и отрочество". Почему именно, я тогда не понимал. Только предполагаю: поразило, что не было героев злых и добрых и ничего не приукрашалось. Вероятно, от Наташи я ждал тургеневского поведения, она же чуть не сбежала с Анатолем, а потом пеленки с желтыми и зелеными пятнами. Конечно, *все для детей*, и вот меня только что выходили. Но Ирина, Лиза, Ася тем и хороши, что никогда никого не пеленали! Курагины — нехорошие, но Анатолю отрезали ногу, и князь Андрей его простил. Какая добрая княжна Марья — у ней-то, конечно, должны были быть дети, но как она могла раздражаться на бедную Соню? Князь Андрей умирал, как, по моим представлениям, никто еще не умирал: рядом с ним сестра и Наташа, а ему *все равно:* но ведь и во время моей болезни мне иногда тоже бывало *все равно*, хотя я, конечно, не умирал и не мог умереть (умирают другие!). Графиня Ростова не хуже моей матери, но под старость капризничала, теребила детей.

Ни с кем из героев я себя не отожествлял, хотя и хорошо было бы подружиться с Петей. Ростовы занятно играли в Отрадном. Когда Наташа не знала, что сказать, она кричала: Мадагаскар! Очень это было понятно, но все же в нее я не влюбился, не из-за Анатоля, а из-за пеленок. Хорошо быть ребенком, но незачем иметь детей: тогда нужно будет все лучшее им отдавать, и уже не обрадует никакой Мадагаскар...

А на самом деле все именно так и есть, как в „Войне и мире”, а не как у Тургенева, Диккенса. Я иначе взглянул на наших: они, конечно, хорошие, для меня хорошие, да и вообще хорошие, но отец вспыльчив, а мать и Марина наказывают молчанием, и тогда мне казалось, что маленькие их уши — *злые:* слышат, а не отвечают! А нужно ли им быть лучше? Тогда они были бы другие, но разве я этого хочу? Нет, я не прилепил бы матери и Марине другие уши; пусть останутся какие есть. А что если отец будет меня нежить, приговаривать: миленький мой!.. Совсем это не нужно. Да, пусть останутся какие есть!

Нанесен был удар и истории. О, я все уже знал и не по детской книжке: читал учебник Платонова, и „Всеобщую историю” Виппера, который прежде преподавал в той гимназии, где училась мать. Наполеон — это по синим волнам океана, это — угас великий человек, это — сфинксы в нашей ампирной гостиной. Александр — любимый император: открытое лицо, и называется он Благословенный. А тут Наполеон — какой-то карапуз, которого обливают одеколоном, и Александр только разбрасывает бисквиты с балкона кремлевского дворца. От французских разговоров веяло сказочным Сухановым. Волконский-дед тоже участвовал в отечественной войне. Пусть Анна Павловна Шерер дама весьма неприятная, но хотелось посидеть в ее салоне, рассуждая об убийстве герцога Энгиенского. Билибин с его мудреными складками на лбу — смешон, но я был бы не прочь так вот рассуждать о высокой политике. Мудрее всех оказывается круглый Платон Каратаев: я соглашаюсь, трудно с Толстым спорить, когда его читаешь, но хочется другого — электрического тока, сухих стрел от любви к Ирине, хочется какой-нибудь коронации, и чтобы царь походил на Александра Третьего, чтобы народ выл, объятый страхом, посыпая главу золой и прахом. Все еще хочется повертеть разодетых красавиц, летящих в канавы, хочется далеко уехать и разгуливать по Керетаро, по Вальпарайсо, увидеть Гоа и Диу. Но мир уже изменился: и отовсюду смотрит Толстой, ни злой, ни добрый, и что-то лучше всех знающий: вот я не прощаю Наташе пеленок, но сам был в пеленках и, может быть, мать тоже их *проверяла.* Толстой прав, может быть, только он и прав... но и этого я тогда сказать не мог: пусть есть правда, но есть и игра, хотя бы и короткая, как в Отрадном

Ростовых, как наш милый рич-рач в коридоре, в котором мы спасались от Октябрьской революции. Очень уж Толстой серьезный — *сурьезный*, как говаривали в Москве, и я поеживаюсь, а читая его, не могу оторваться. Сразу все навсегда запоминалось, и никак нельзя было предугадать их судьбу, даже их увлечения: почему добрый Пьер влюбился в кукольную Элен Курагину, а беспардонный Долохов — в домашнюю Соню? Почему князь Андрей выздоровел, чтобы вскоре умереть? Непонятно, но все иначе быть не могло. Сухановские Волконские были из того же мира...А „Войны и мира" не читали... Стараюсь думать по-толстовски, наоборот ожидаемому: а зачем было им читать? Они просто продолжали *ту* жизнь в наше время и закончили ее как умели.

Все для детей: поэтому мать и тетка опять везут нас на дачу в Бутово, на свежий воздух. Тридцать верст проехали на подводе: почему-то оказалось, что так удобнее. Сквозь дремоту видел бесконечные подмосковные деревни, вырезанные сердечки на ставнях, мелькали подсолнухи, куры, злые шавки, голопузые мальчишки. Я часто гулял один — прощался. Скоро мы уедем из России. Дачников мало, а в самой большой — сиротский приют, и дети кричали мне из окон: „Одиннадцатилетний дядя!" Островок на пруду: хотелось навсегда запомнить сплетение веток в виде знака умножения и какой-то пучок, напоминающий отменную ижицу (в азбуке Бенуа под этой буквой был изображен таинственный Иакинф). Все помню куда хуже, чем в прежние побывки на даче. Но запомнилось мое неожиданное хулиганство. Пришли кузены, и мы пробрались в бывший дачный театр. Крестьяне, все увозившие в деревню, почему-то оставили занавески и кое-какой хлам — запыленные мантии, продырявленные цилиндры. Мы нарядились, бегали по сцене, и я запустил в окно кирпичом. Пришел в неистовство, все рвал, опрокидывал, визжал: выходили из меня бесы, таившиеся годами. Не играл я в казаки-разбойники, в снежки, не дрался, был поведения самого примерного, что отцу не нравилось, и только один-единственный раз, в этом самом Бутове, геройствовал на крыше дровяного сарайчика... Кто-то крикнул: „Идут!" Никого не было, но мы разбежались. Щеки горели от стыда и счастья: стекло зазвенело, как какое-нибудь Замбези!

На заре моей истории — Крым, а позднее — дальше

Жучков, Суханова, Бутова мы не выезжали. Вот кончится война и съездим летом в Шотландию... Как-то в Бутове остановился блиндированный поезд: высыпали кожаные люди, едут бить Врангеля, а прежде мчались без остановки скорые поезда, и мы когда-то проехали здесь в синем вагоне.

В сентябре уезжаем в неизвестную Эстонию: мы оптанты, как тогда говорили (оптировали эстонское гражданство). Красные скотские вагоны с нарами, посредине топится буржуйка. Дня два прождали, и вот поздно вечером поезд двинулся. Всплыли круглые буквы в газете „Утро России". Платон Каратаев тоже круглый... и мы вернемся, когда кончатся „плохие времена". Я еще помню те сплетения веток в виде знака умножения и ижицы. Что-то отрывается от сердца, и изнутри подкатывает к горлу, а все же блаженно хорошо: едем, едем и будем ехать, даже если никуда не доедем.

НОВОЕ МЕСТО

Все такое маленькое, одноэтажное и, казалось, никаких существенных изменений не претерпевшее, хотя здесь недавно пронеслись война, революция и была провозглашена новая республика. Ни голода-холода, ни обысков, ни расстрелов. В первые же именины покупаются тридцать пирожных в кафе „Венера" и каждый съедает по пяти штук, запивая какао. Всюду старые немки, донашивающие шляпки „капотиком": немцы здесь в меньшинстве, но больше всего бросаются в глаза. Певучего эстонского языка я еще не одолел и приходилось вспоминать немецкий: с уходом последней *фрелины* я почти все позабыл, но не сказочную, волшебную, рокочущую Гертрудис!

Вместо Пречистенского бульвара — холм с парком! Наверху самое большое здание во всем городе: руина готического собора с отстроенной абсидой, где помещается университетская библиотека: там работает отец Марины, дядя Феликс. Это бывший Юрьев, бывший Дорпат, который также назывался Дерпт, а теперь — Тарту. Незнакомые каштаны с белыми свечками, черепичные крыши, и по-московски выглядит только ампирное здание университета: колончатый портик и белая, желтая штукатурка, как в Москве или в Суханове. За одноэтажными домиками плодовые сады — главный доход немецких вдов и старых дев. Все их качества у Fräulein Thon, у которой живет Марина с дядей и тетей. Она высокая, монументальная, зеленоватые глаза, узкие губы и все запрещает, не дай Бог хлопнуть калиткой, нельзя громко говорить, и ее постоянно удручают симптомы разных болезней: „Смотрите, уже посинели пальцы, может быть, брюшной тиф или даже холе-

ра...” Меня она сперва невзлюбила, но потом мы почти подружились. Русских недолюбливала, но всеми нами заинтересовалась, делала разные послабления и все чаще смеялась с закрытым ртом: того требовали немецкие законы приличия в городе Дерпте.

До отказа набитые классы в русской гимназии: очень много понаехало оптантов из России, и не было помещений для параллельных классов. Драк меньше, но шуму больше, и гнетущая скука. Досаждает алгебра, досаждает трудный эстонский язык с четырнадцатью падежами, да еще вдобавок английский, которым прежде я никогда не занимался. Ни товарищей, ни товарок (обучение было смешанное) : я опять белая ворона.

А дома я жил по двум параллелям. Еще усилилась страсть к генеалогии. В мелочной лавке мне давали кипы старых номеров “Die Woche”, “Gartenlaube”, “Über Land und Meer”, которые покупались на вес, для обертки. Я вырезал принцев и наклеивал их на листы, вкладываемые в заветную папку. Были любимцы — бородатые монархи, напоминавшие Александра Третьего, — германский император Фридрих, бразильский — Дон Педро, бельгийский король — Леопольд, а принцессы нравились — с пуфами девяностых годов и звездами в волосах. Дядя принес последний Готский альманах, и я мог сверить, кто на ком женился за последние семь лет. Румыния женилась на Греции, а Греция на Румынии — это восхищало, но не нравилось, что королевские дочери начали выходить за графов, а не за принцев из первой и второй части Готы! Только географические браки украшают родословие, как добротные рифмы. Вот Дания вышла замуж за Парму — это хорошо и приятно-необычно.

Другая параллель — чтение романов Золя (Рим, Париж, Лурд) и всего Гоголя, который не слишком нравился, мало смешил, но нужен был мне для моего первого, с грехом пополам сшитого „мировоззрения”. Хотелось обратно в Россию, которая из юрьевского *далека* казалась совсем другой, и я увлекался теперь и русской историей, и географией. Россия маячила гоголевской тройкой, перед которой расступаются все народы. Увлекался я и Некрасовым, его народничеством: у него страдающие крестьяне, всюду разливается Волга слез и склоняются плакучие ивы во глубине России, и вот нужно объединить освобожден-

ного мужика с восстановленным царем, и пусть они скачут на гоголевской тройке! Позднее эти мои мечты я узнал в утопии генерала Краснова. Все это смешалось в моей голове, и я написал кисточкой — красным по белому — воззвание от имени Алексея Березкина: гимназисты, будьте монархисты, только монархия спасет Россию! Обнаруженную прокламацию сожгли, припугнув:

— Выгонят из гимназии, где политикой заниматься нельзя, и тебе не поздоровится, если узнает эстонская полиция: здесь хотят, чтобы русские были, прежде всего, гражданами новой республики...

Я и сам трусил и рад был домашнему разоблачению.

Жил собою, из себя и для себя. Не забыл тех волшебных державинских стихов о Борее и пушкинских о Юдифи: иду из школы домой по пустынной аллее Домберга и подвываю. Еще выучил наизусть „Пророка”. Рублю дровишки на заднем дворике, никого нет и, размахивая топором, выкрикиваю: „Восстань, пророк, и виждь и внемли...” Самые слова — *зеница, десница, глагол* убыстряли кровообращение. Я обалдеваю, как тургеневские герои от любви, мучительно-блаженно электрифицируюсь, а почему именно и для чего заряжаюсь и разряжаюсь, не знаю, но выносит меня куда-то на вольную волю, как той лунной ночью в Суханове или же когда играли жуткий, ликующий марш на похоронах московского генерала.

Строчки из „Евгения Онегина”, из „Горя от ума” вошли в живую речь матери и тетки, но к поэзии они были равнодушны, как и мои товарищи по гимназии тоже. Пугачевского вида учитель русского языка заставлял вызубривать отрывки из „Полтавы”, из „Мцыри”, но никого стихи не восхищали. Учителя звали — Каверзнев, и всем становилось не по себе, когда он запихивал в рот сивую бороду. „Вон... чтобы и духу не было!” — покрикивал бородач, если видел улыбку на лице. Меня он скорее жаловал за воющую декламацию: „...Чуть трепещут / сребристых тополей листы...” Как-то он вызвал меня и, указуя на портрет Лермонтова, спросил, какое у него лицо? Быстротой соображения я никогда не отличался и молчал. „Мрачное”, — сказал он укоризненно и сам помрачнел, а нос у него крохотный, красненький: не с похмелья ли взрывался он или же вдруг задумывался, умолкал, объясняя тайны сложно-сочиненного предложения.

Осенью двадцать первого года я был на гимназическом вечере: все как полагается — дивертисмент. Кто во что горазд: чеховское „Предложение", присядка, балалаечники. Басистый гимназист прочел Некрасова: „Еду ли ночью по улице темной..." а в финале грянул: „Только во мне шевельнутся проклятья..."

Если я и слышал чтение стихов на таких же вечерах в Москве, то ничего не запомнилось, а теперь и рифмы увлекали, и я их на том заднем дворике всегда растягивал: влачи-и-лся — яви-и-лся.

Вышла очень жгучая еврейка и дрожащим голосом, картаво, неразборчиво прочла:

В час, когда бледнеют на'циссы
И теат' в закатном огне...

Я был сражен на месте: это ни на что не похоже и малопонятно. Что значит последняя кулиса? Это — Александр Блок, который за несколько месяцев до того умер в Петрограде. Такие стихи надо читать иначе — может быть, и картаво, как та гимназистка, или еще как-то невообразимо иначе. Но до томиков Блока я добрался позднее, вероятно, через год, уже в Ревеле.

Начал писать стихи, достойные пера Алексея Березкина: Россия возносилась, как стройный *тополь*, а поэт испускал *вополь!* Сочинил и стихотворение в прозе: в душе моей посеяно „золотое семя", но аллегорический туман мешает ему „взрасти". Тут же в „общей тетради" вычерчивались родословные Гессен-Кассельских и Гессен-Дармштадтских.

— Покажите тетрадь! — приказал франтоватый и фатоватый учитель „естества" (естествознания). — А теперь скажите, как размножается амеба? Не знаете? — И холеная рука вписывает единицу.

Первый ученик — веселый курчавый мальчик, зубы будто бы еще молочные, расставленные с промежутками, и много веснушек, ребячье выражение, но остер на язык, поддразнивает: „Какой вы теленок". Еще недавно я хотел быть теленком, но прозвание это бесит. Теперь в Париже есть улица его имени — Бориса Вильде, героя французского резистанса. Позднее выяснилось, что и он кропал стишки, но в высшей степени секретно, как и я.

Fräulein Thon все знала и как-то оповестила: умер владелец мыловарни... Вынос из корпорации такой-то. Черный катафалк столь же пышный, что и в старой Москве. Непривычные корпоранты с тоненькими разноцветными ленточками через плечо, а те, что в почетном карауле, облачены во фраки. Знакомый — жуткий и ликующий траурный марш. Я спустился с Домберга и раза два встретил похоронную процессию на главных улицах. Сияло весеннее солнце, но все померкало при приближении тихих лошадей с плюмажами и преувеличенными глазами: мерещились они и в сумерках, а ночью я просыпался в холодном компрессе.

Какие похороны *закатывали* принцам, и я, пугаясь, но и восхищаясь, глядел на катафалк германской императрицы: в республиканском Потсдаме за ее гробом, в полном параде, в султанах и лентах, шествовали все низвергнутые немецкие короли, герцоги, князья. А на самом деле, какие бы ни были pompes funèbres,* тот же конец, та же яма. Бог в своих храмах тоже участвует в этом нехорошем деле: допустив смерть, дает через священника благословление на все обряды, вплоть до зарывания в землю. Или же Бога нет, и мы ниже амебы, которая размножается делением и, следовательно, никогда не умирает. Тот, куда-то затерявшийся крестик с бирюзовой эмалью теплился у изголовья, утешал, а голубая церковь Успенья-на-могильцах, подымаясь в небо, радовала, веселила, но все это только волшебные сказки, как игры в коровы, в грибы, в географию, генеалогию, а с недавних пор — и в поэзию. Может быть, с того самого раннего доисторического момента, когда мне сказали, куда именно свозят покойников, я перестал верить во всемогущего Бога, но никогда не переставал любить затейливые выдумки, причудливые звуки, необычную роскошь, неизбежную нищету и — Бога, забывая о том, есть ли Он или Его нет.

Я выстаивал великопостные службы. Слушал рассеянно. Изредка долетали слова, лучше которых нет: от юности моея мнози борят мя страсти... паче снега убелюся... пришедше на запад солнца... горе́ имеем сердца... Плохо, что плохо слушаю! Но хорошо, что побаливают плечи, и после двухчасового стояния почему-то легче

---

* Похоронные обряды (франц.).

стоится! Дома, когда никого не было, отбил двести земных поклонов. Молился, наевшись киселя, и стошнило. Удручало отвращение к самому себе. Что же не нравилось? То, что грублю дома и не даю по морде тем, которые меня поддразнивают в школе, что плохо учусь и, вырастая, превращаюсь в животное нечистое. Если уж грешить, то как-то грандиознее!

Впервые побывал у пасхальной заутрени. Мать сказала, останемся в церкви, и *Христос воскресе* донеслось издали, будто с того света, а потом грянуло в распахнутые двери. Колокола раскалывали на куски бьющееся сердце, золоченый иконостас, сырую ночь. Хлынула теплая волна и унесла на вольную волю за моросящие апрельские тучи.

У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Одного только дельфина видел я в Черном море: так оно ослепило детские глаза, что ничего, кроме одуряющего блеска не запомнилось. А новое море не слепит, и за долгие годы всегда веселило и радовало. Волны бутылочно-зеленого мрамора с белыми жилками и пенистым хохолком. Жирные чайки и их хищно-тоскливые крики странно возбуждают — усиливают аппетит к жизни: хочется жить, их слушая, и кажется — все желания сбудутся. Ползая на руках и сжав ноги русалочьим хвостом, я быстро научился плавать, сперва по-женски барахтаясь и брызгая, а потом и саженками, и на спине, вообще как угодно. Нет другой более счастливой игры, как будто нарушающей законы притяжения и дающей такое наслаждение свободой.

Мы поселились в предместье Ревеля — Коппеле, где незадолго до войны были построены два огромных судостроительных завода с верфями, монументальным краном в виде колоссального „Г" и головастой водокачкой, похожей на кобру. В эстонское время заводы опустели, ветшали корпуса с разбитыми стеклами, а на эллинге, напоминающем римский акведук, выросли чахлые кустики. Это были руины индустриализации, и это нравилось. Только ничтожная часть площади была занята штабелями досок, того „леса", который Эстония вывозила отсюда на немецких и датских судах. Рядом — балтийское дворянское кладбище со взрывчато-щелкающими соловьями, старыми дубами, с ампирными обелисками и урнами графов Гейден или баронов Розен. Оно славилось могилами воздухоплавателя Леру, погибшего в ревельской бухте и достославной

певицы Мара́, пленявшей всю Европу. После купанья я шел туда с книгой, к любимой скамейке с видом на море, и запущенное урочище смерти нисколько не пугало: оно казалось земным раем. Пройдет с грабельками немецкая вдова в черной пелеринке девяностых годов и в стоптанных соломенных туфлях — обувь за тридцать лет изнашивается, а на покупку новой нет денег. Титулованные немцы беднели. Приезжали на похороны в цилиндрах и стоптанных рыжих сапогах, навощенных черной ваксой. Многие немецкие фоны, как и русские полковники северо-западной армии, были рады служить сторожами на опустевших заводах.

Везде море, и у нашего дома, и за кладбищем — правда, море суженное в заливе, но с нежно колеблющейся, окутанной дымкой линией горизонта, а позади мглистый готический профиль ревельского Вышгорода с указательным пальцем — башней Германа. Все сразу навсегда стало своим, чего нельзя сказать о Юрьеве, где я „дома" не был.

Осенью я поступил в пятый класс ревельской русской гимназии: впервые школа перестала быть адом. Я уже не был белой вороной, удачно дружил и неудачно влюблялся, — то и другое доставляло радость, как отчасти и учение. Двойная жизнь кончилась: то, о чем я мечтал дома, а также и прочитанные книги, находило отклик — встретились товарищи и товарки с похожими мечтаниями и с теми же книгами, а если хотелось быть одному, то не надо было таиться в комнате, и даже в морозы я выходил на мол у большого крана или же бродил по замерзшему заливу, и всегда было далеко видно: просторно.

Я не пишу воспоминаний, хотя и „делюсь воспоминаниями". Это *повесть о стихах:* мне хочется понять, почему я (и это не так уж существенно, что именно я) до сих пор одержим стихами до полного обалдения. Ничего хорошего в этом нет, но это так: *судьба*, отчасти предрешенная детством, когда я стихов терпеть не мог, но тешился волшебной игрой слов и звуков, и крымская гора Ай-Петри преображалась в веселую дурь: *Ай, Петри, как тебе не стыдно*, а барышни из Иванова-*Ваннова* плескались в ваннах. Такие игры с самим собой продолжались и позднее, восхитительно зазвучала Гертрудис из немецкой сказки, запела в душе испанская география, прельстили величавые и забавные коровы, привлекали убогие люди, а разодетые

куклы-красавицы летели в канавы и лужи. Промелькнули тургеневские женщины и, наконец, явился державинский Борей с белыми власами и седою бородой и те совсем не пушкинские строки:

> Главу покрыв золой и прахом,
> Народ завыл, объятый страхом...

Еще в Москве я несколько раз брался за Достоевского, но как-то случалось, что на раскрывшейся странице моросил дождь или падал мокрый снег, и я откладывал книгу. А во второе ревельское лето я прочел все марксово собрание сочинений, и тургеневских роковых женщин сменили студенты с идеями и топорами. Официальным героем был Алеша Карамазов со своими мальчиками; он конечно спасет Россию с белым царем и верующими мужиками. Но неофициально, *на самом деле*, ошарашивали, опьяняли безумные сцены: я валяюсь на постели, и вот входит незнакомец, он ставит на пол высокий цилиндр, пристально всматривается и слегка улыбается. В пустой квартире каких-то Капернаумовых он уже успел подслушать исповедь Раскольникова. А утром вместе с ним я встречал у большого крана Ахилеску в шлеме пожарного и приставлял к виску воображаемый револьвер: „В Америку еду..." Брезгливая скорбь в глазах Ахилески и его дурацкий лепет... Свидригайлов — негодяй, но как я блаженно содрогался в его петербургском бреду! Версилов никакого ответа не дает, но я обожал его столь же страстно, как и Подросток: вот он читает перед зеркалом монологи Чацкого, вот ведет сына в распивочные — с заикающимися ариями из *Лючии*, и снуют половые в русских до неприличия костюмах! Признания этого блудного отца, его простодушно-насмешливые и безумно-мечтательные речи, неожиданные таинственные поступки: он разбивает образ... А бредни Ивана Карамазова, тоже в распивочной, или же лезущий с бритвой смешной и жуткий Павел Павлович Трусоцкий. Этим вот *брал* Достоевский, петербургской фантастикой, чиновниками-двойниками, студентами-убийцами, праздношатающимися князьями, добровольными шутами, и всех тургеневских женщин заслонила несчастная, прекрасная, буйствующая именинница Настасья Филипповна, — и эта инфернальница *есть Барашкова*, сплетничает в вагоне Ле-

бедев: все дико, иногда забавно, а после еще дичее, безумнее, и мне казалось, что я живу удесятеренной, утысячеренной жизнью, и уже жду не дождусь, когда заморосит дождик, когда же, наконец, мокрый снег облепит лицо тающим студнем. А белые ночи — те же, как в Петербурге, и я гордился тем, что через Ревель проходит та же широта, что и по течению Невы. Выбеленная лавка у заводских Седьмых ворот преображается Бог знает во что, черт знает во что: в заколдованную храмину каких-то древних кельтов или тибетских мудрецов. Она на глазах растекается и опять крепнет, наливаясь мелом — сумасшедше белеет, ослепляет, колдует, и сердце вот сейчас разорвется от блаженного ужаса: пусть поскорее все кончится, пусть мир затопит мокрый снег, и пусть все закаменеет мелом, и мел будет таять, и опять твердеть! Нет конца и ужасам, и чудесам, и упоению: вот каких *делов* наделал мрачно-каторжный и дивно-безумный Достоевский. Стоит взойти за ним на эшафот, стоит корчиться в эпилепсии, чтобы снились эти петербургские сны у металлически поблескивающего Финского залива.

Как я тогда был счастлив и как противен: грубил и злился дома только потому, что ничего *достоевского* там не находил. В поисках героя „из Федора Михайловича" я подружился с Арнольдом. Был он старше меня, мускулистый, ражий, но и неврастеник, хитрый неврастеник, и тоже увлекался достоевщиной. Считался в гимназии первым актером: надсаживаясь, выкрикивал „мальчиков кровавых", шептал-орал-хохотал, разыгрывая апухтинского Сумасшедшего, гнусавил, ломался, распевая „В синем и далеком океане..." На все был горазд и любил властвовать.

Сумерничали — и Арнольд медленно отчеканивает:

— Убью... вас убью... (мы так и не перешли с ним на „ты")... мне все позволено... — И Арнольд уже сжимает мне горло.

Пугаюсь, но и восхищаюсь: это Ставрогин! Силу пробует... Но разве похож он на этого принца Гарри? Кудрявая *шапка* вьющихся или же, как поговаривали, завитых волос, выдающийся, но на кончике слегка приплюснутый нос — свиной пятачок, заплывшие глаза, трясущиеся щеки, маленький женский рот. Кто-то из недругов обозвал его бешеной свиньей. Раздражался преимущественно на слабых: ни с того ни с сего („физия" не понравилась), да-

вал в морду и потом говорил мне: „Знаете, иногда находит бешенство... но если и придушу, то не сгоряча, а холодно, умно..." Тоже подражание Ставрогину, который прикусывал ухо, водил за нос или же целовал Липутину не в припадке сумасшествия, а силу пробовал, и поэтому же не растерзал заушившего его Шатова.

Но был и льстив, напугает, наврет, а потом превозносит до небес: „Вы гений, как и я... Все прочие дураки!" То же самое он говорил нашему общему приятелю Уильяму. Его отец, из онемеченных эстонцев, обожал все английское и окрестил детей английскими именами. Был Уильям огромный, белый и горбился под тяжестью монументального туловища. У губ брезгливые складки, и мы называли его иногда верблюдом, а глаза круглые, синие, детские. Писал маслом и уничтожал все картины: ему не удавалось найти какое-то таинственное сплетение линий. Он выкрадывал спирт из аптечного склада отца. Алкоголь мы разбавляли водой: влага сразу теплела, и мы хлебали ее на коппельском кладбище, романтически погибали у обелисков и урн немецких баронов. Как-то раз, поздней осенью, поддерживая друг друга под руки, мы вошли в воду: море было уже буквально по колено, но не погибли, даже не простудились. Нюхали краденый эфир, и кто-то не хотел просыпаться: открыли окно, оттирали льдинками. Это будто бы тоже Достоевский, но с добавкой Эдгара По, которым увлекался Уильям!

— Переплюнете Пикассо, — говорил Уильяму Арнольд, — вы гений, скажем всем прочим: пошли вон, дураки!

Одураченные нашим Ставрогиным, мы передавали записки Арнольда его *любви* и даже должны были с этой любовью гулять для отвода глаз: родители Арнольда баловали, но безумно боялись, что он рано женится, как его старший брат, ставший отцом, еще не окончив гимназии.

Памятный день нашего освобождения от рабства: слово к слову, и вдруг мы с Уильямом все поняли:

— Какой же он Ставрогин — у него свиная морда... Самый грубый расчет: то пугнет, то польстит — „вы гений"! Не герой, а пародия!

Но дураков учить нужно: учить — одурачивая! Мы сами надели ярмо... И было с Арнольдом весело: весело потому, что он всегда ошарашивал декламацией, фантазия-

ми, амурами, и худшие опасения его родителей сбылись — он стал отцом еще будучи в седьмом классе.

— Вот вы все корпите над виршами, а я сразу напишу..." - и Арнольд начертал косыми в обратную сторону — упрямыми буквами:

Я равен, излучен,
Нетронут струей,
Я ветер певучий,
Я вор с головой...

Завидуя, но и восхищаясь, я признал, что его стихи лучше моих: все звучно-невнятно и как будто гениально. Особенно нравился этот неожиданный „вор с головой", родившийся от того вора, которого выдают „с головой". Как-то он изорвал свои стихи и бросился в уборную, чтобы всю свою поэзию *спустить*. Я — за ним, и мне как-то удалось справиться с беснующимся гением, хотя я был гораздо слабее его; кажется, он не очень сопротивлялся, и драгоценное литературное наследие было спасено, отнято и бережно склеено.

Как мы с Уильямом честили Арнольда, и за дело, а все же и он был товарищ: вместе с ним мы неловко-несуразно-бесцельно испытывали умственные силенки на просторе полуразрушенных заводов, на романтическом кладбище, где мы однажды легли на могилки, чтобы услышать гнусавый шепот, и кому-то уже почудился *Бобок!* И бессмысленно шумело, *нудило* — будто требовало ответа оглушающее море.

Арнольд где-то существует, говорят, очень растолстел, а Уильяма сразила английская пуля около Сиены: семья переехала в Германию, и его послали переводчиком во власовский отряд.

ЕЩЕ РАЗ У ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Рука об руку с Достоевским — Блок.

Из уст той картавой, дрожащей гимназистки в Юрьеве я впервые услышал блоковские стихи „В час, когда бледнеют на'циссы..." А в Ревеле кто только на Блока не молился!

Веселая румяная гимназистка Лиля — ее бы перенести на фламандское полотно Рубенса или Иорденса, — а она, подвывая, изгибаясь, читает: „По вечерам, над ресторанами... И веют окриками пья-яными..." — и под занавес стонет, изнемогая: „Я знаю — и-истина в вине..."

Ее подруга — Вася, хотя крестили ее не Василисой, а Александрой. Высокая, стройная, узкие бедра, короткая стрижка — под модную Холостячку. Русалочьи глаза, а носик пуговкой, как у Павла Первого. Сколько у ней почитателей, поклонников — и все читают Блока. Один хочет стать монахом и, действительно, впоследствии постригся. Вроде Алеши Карамазова, и что-то проповедует русским мальчикам, но проходит через *лиловые* искушения второго тома Блока, и Вася его спасительница — Девушка Розовых ворот.

У Романа детские, круглые синие глаза и срезанный подбородок, а говорит задыхаясь, будто всхлипывая: „Звоню, открывается дверь, — а-а-а, как райские врата и а-а-а розовая-я Вася-я..." Его брат — недавний мичман, а работает на заводе: называется *плененный рыцарь*, и он тоже синеглазый, но с волевым подбородком. Его девиз:

> Узнаю тебя, жизнь, принимаю
> И приветствую звоном щита...

Имеет успех, и однажды был почти что помолвлен с Васей.

Были поклонники и почитатели, Блока не читавшие: *Разбойник*, по недоразумению просидевший несколько недель в тюрьме, *Селадон*, приглашавший в рестораны, *Аббат*, служивший ночным сторожем и хотевший стать священником, и он им стал: этот никакого успеха не имел: „Чтобы я стала попадьей?!..” — возмущалась Вася.

Был, наконец, *Пророк* — самый замечательный человек, которого я когда-либо встречал, и именно поэтому не хочу о нем говорить, скажу лишь, что и он пребывал тогда в блоковской ауре и посещал Васин кружок, где мы сумерничали, развалясь на плюшевых креслицах девяностых годов: семья Васи была не из России, как семьи большинства моих новых друзей, а местная, что Васю иногда удручало, и они жили в квартире, где поселились задолго до российской заворошки.

Мы сумерничали и вещали: шепотом рассказывали сны, блаженно фантазировали или же говорили блоковскими стихами. Иногда почитатели и поклонники подпускали друг другу „шпильки”, но Вася всех шпыняющих строго осаживала: „Надо же понимать — вы все разные созвучия, а не какие-то там „ухажеры”!” Но вместе с тем она ревниво следила за тем, чтобы кадило не угасало. Каждому давались частные аудиенции, подсыпавшие угольки в ладан обожания.

Все уже окончили школу, некоторые учились в юрьевском университете, и только я еще „ходил в гимназистах”, что было, конечно, позорно. Вася отвела мне роль мальчика — и не из Блока, а из Ахматовой.

> И мальчику было больно,
> И мальчика очень жаль...

Поддразнивала Вася, но как-то на дачу их под Ревелем я явился в голубой русской рубашке, и она сказала:

— Гуляем, как в Шахматове... понимаете, что это значит?

Конечно, понял: она — Люба Менделеева, а я — Саша Блок!

— Впрочем, не зазнавайтесь, это я играю в мой театр: если я *она*, то вы-то не *он!*

Сосновый бор, а на холме причудливая башня —

фантазия одного немецкого барона. Взобрались на верхнюю площадку.

— А если я сброшусь?..

— И сломаете шею... Ну что ж, тогда я скажу, что люблю только вас, надо же утешить... героя, навевая сон золотой!

Но Блока было больше на молу, у бьющихся о ветшающие сваи волн Финского залива. Там я завывал: „Выходи на битву, старый Рок...” Или:

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...

Для Достоевского нужны были герои Достоевского: вот я и попался на Ставрогине в образе самозванца Арнольда, у которого даже не было ставрогинского фасада — *той* румяной маски. Для Блока нужна была *она*, отчасти воплотившаяся в Васе. Но — не очень нужна. Читая Блока, можно было и уединенно взрываться в гулких заводских корпусах, под дубами немецкого кладбища и, в особенности, у самого Финского моря. Кажется, ничто так не заряжало и не разряжало, как эти стихи:

Один я стою и внимаю
Тому, что мне скрипки поют.
Поют они дикие песни
О том, что свободным я стал!
О том, что на лучшую долю
Я низкую страсть променял!

С детства я привык к моему мечтательному подполью и сумел уютно-комфортабельно в нем устроиться: злые мальчишки вроде верзилы Балашова *дадут по шеям*, но „ничего”, через часик я буду дома, где мои карты, книжки, вымыслы — в душе возвышенно, а в комнате тепло, и мать утешит, если не шоколадкой, то у себя же отнятым ломтем пайкового хлеба. Правда, от похорон, от покойников защиты нет, но опять „ничего”, сейчас вот я твержу до полного обалдения: Лима, Лима, и тут же это потешно-нелепое Куско, Куско, а озеро Тити-таки, Тити-таки, и я счастлив. Но всегда манила блаженная воля вольная, сиявшая в сухановскую лунную ночь и звеневшая в похоронных

маршах, — но прежде *извне* веяло этой свободой, а теперь я сам эту свободу делаю, — весь исхожу в вое блоковских стихов: водокачка с головой кобры, урны, обелиски, волны, чайки — это мое урочище, мое царствие — это я их вызываю, провозглашаю. Перестану читать и — тогда это только ландшафт, театральный хлам.

Закаты, которые я „читал", сверяя их по „Воспоминаниям" Андрея Белого, — тоже были *мои:* куликовский закат в крови или другой —

> В сплетенье дерев обнаженных
> Желтый зимний закат за окном...

А малиновые перышки высоких облаков — это не Гамаюн ли — птица вещая? А таинства белых ночей?.. Тогда все возможно: мел стены на глазах тает и еще более твердеет.

Мечты требовали действия. Я рано поднялся в июле, чтобы увидеть непривычный восход солнца. Начал взбираться на большой кран: это было запрещено, но я легко перескочил проволоку и по заржавевшей сквозной лесенке добрался до первой площадки, на которой был установлен — *кранчик* (как мы его называли). От кранчика подымалась ввысь лесенка без перил и упиралась в сторожевую или наблюдательную будку. Я с детства боялся высоты, и даже на невысоких кремлевских стенах у меня свербило за ушами и под коленями: одолевал нестерпимый животный ужас. Все же я полез по той, висящей над бездной лесенке. Одолел дюжину ступеней и вернулся. Сознался в этом моем позоре Арнольду.

— Куда вам!.. — ухмыльнулся он.

— Вы полезли бы?

— А зачем? Я актер, не акробат. Очень надо...

Все же вопрос этот моему Ставрогину не понравился.

— Большая разница: я не хочу и не лезу, а вы захотели и не долезли!

Что еще можно было сделать на блоковском просторе Финского моря, которое я не хотел называть заливом, а наименование „Балтийское море" мне никогда не нравилось. Я уже не был Алексеем Березкиным, писавшим монархическое воззвание, обращенное к гимназистам Юрьевской русской гимназии. Не мечтал, как бы пробраться за пограничную проволоку, чтобы убить Ленина.

Блок „принял" революцию, которую Достоевский предсказал и проклял. Правда, я тогда уже понимал, что Достоевский — это не Белый царь из „Дневника писателя", даже не Зосима, Паисий, не Алеша Карамазов, а сплошной упоительный скандал богоискательства и богоотрицательства: и я пил крепкий чай с Кирилловым, подслушивал разговоры Ивана с чертом-приживальщиком... достоевщина была по температуре своей — революционной...

„Двенадцать" не трогали, не нравилась частушечная гармошка и не нравился Исус Христос в белом венчике из роз. Но заряжали электричеством „Скифы":

Да, скифы мы с раскосыми и жадными глазами...

Не хотелось быть Петькой, Ванькой, а скифом — почему бы нет?! Уже долетели до меня обрывки евразийских бредней и „воображалась" растущая из ЭсЭсЭсЭр огромная азийская Скифия с заводами блоковской Новой Америки: вот и в этих запущенных коппельских корпусах закипит работа, и большой кран опустит нос с грузом. Отчего бы мне не стать бардом этой могучей Скифии? Но на самом деле ни до чего этого мне не было никакого дела в заводско-кладбищенско-приморском уединении, если не считать каких-то тщеславных карьерных расчетов. Дня не мог прожить без Арнольда, Уильяма, Васи и ее почитателей, поклонников, нравилась вся эта наша *перемешка* стихов, вымыслов, слухов, даже сплетен, блужданий по ревельским улицам и подпольных приятельских выпивок. Впервые я мог пороть дичь, которой даже можно было кокетничать: чем ты дичее, тем *оригинальнее!* А все же *я* был *я* без посторонних свидетелей, наедине с Блоком и чайками.

Мать Блока вместе с мужем, генералом Кублицким-Пиоттух, жили в Ревеле, и Блок к ним иногда наезжал, и мы совершали паломничества на Фишермайские улицы, где будто бы была их квартира.

Некоторые блоковские стихи помечены Ревелем:

Не спят, не помнят, не торгуют,
Над черным городом, как стон,
Стоит, терзая ночь глухую,
Весенний и пасхальный звон.

Как-то я шел по узкой средневековой Извозчичьей улице и вдруг сами собой сказались стихи:

В черном городе надежды сбылись:
Мир сгорел до тла...

Ничего подходящего к этим строчкам приписать не удалось, и мне казалось — их продиктовал Блок. Но конец, мировой пожар — это, конечно, и *начало:* рай на земле —

Синий, синий, певучий, певучий...

Маячила блоковская Кармен, но ни с Васей, обожавшей эти стихи, ни с Лилей она не была связана: лучше всего *вылось* одному и даже не хотелось, не мечталось, чтобы кто-нибудь взвыл в ответ. Исхождение из самого себя на вольную волю было самоцелью, и за эти мои уединенные радения я расплачивался унынием: и все раздражало дома, и не радовали приятели и приятельницы. Бледной немочью слонялся я во время гимназических перемен, все хуже учился, а проглатывал по две книги ежедневно, вернее — еженощно. Любил делать „поппи" — кажется, это единственное эстонское выражение, которое вошло в обиход нашего гимназического быта: оно означало — не идти в школу, а где-то скрываться. По пустынным портовым улицам я пробирался в парк Екатериненталь, оттуда взбирался на холм Лаксберг и шел по шоссейной дороге до самой Бригитовки.

Недалеко от устья находились развалины шведского монастыря Святой Бригитты. Поздняя осень или ранняя весна, низкие ватные облака, сосны шумят, подражая морю, дешевые папиросы *Ахто*, и я опять подвывал из Блока. Сам тоже кропал стихи, и прескверные, куда хуже, чем дурачивший меня Арнольд.

После Блока неожиданно приоткрылся Баратынский, певец Финляндии. „Эда", которой восхищался Пушкин, никуда не годилась, но опьяняли элегии:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну...

Недалекую *баратынскую* Финляндию я заменял окружавшей меня Ливонией, как мне хотелось называть Эстонию, вот и у Тютчева она тоже так называлась: „Через ливонские я проезжал поля..."

Опьянял *Бокал уединения:*

Ты не встречен братьей шумной,
Буйных оргий властелин,
Сластолюбец вольнодумный,
Я сегодня пью один...

Вот и пью море, Бригитовку, самого себя.

Иногда я шел в другую сторону, и за унылой Широкопесочной улицей выходил на русское Александро-Невское кладбище. Какой-то переулочек с редкими мещанскими домиками подымался прямо вверх — в самое небо, и казался мне воплощением скуки и тоски, которая, впрочем, тоже *должна была быть:* может быть, перед самым концом света, в черном городе Блока. Из-за угла выскакивал пьяненький инвалид 78-го года, выпрашивая пятачок на табачок: какие у него выцветшие голубые глаза, а когда-то светились васильками и пленяли молдаванок и болгарок. Так все отцветет в недалеком *грядущем,* но и как засияет в синем певучем раю. Пробирался к двум таинственным могилам. Одна — девочки лет четырнадцати, ее случайно застрелил гимназист в скаутском лагере, но поговаривали, что совсем не случайно, и все это произошло до нашего переезда в Ревель. Овальная фотография на кресте — она вся легкая, как эти волосики на висках, но косы тяжелые, тяжелее тела. А я живу и жить хочу — и поэтому перед ней виноват: если человек умирает, все живущие в этом виноваты. Еще бóльшая вина перед другой могилой — Вали Боковой. Маленькая, остренькая, и пристальные, но ничего не видящие зрачки. Кажется, мы всегда разговаривали, сидя на широких подоконниках в гимназии. Было скучновато, потому что глядела она прямо в глаза, но *сквозь* собеседника, и никогда не слушала. Ее умные шепотливые речи сразу забывались. Излила она себя, играя мальчика Амала в драме Рабиндраната Тагора. Новая Комиссаржевская, восхищалась инспекторша, не девочка, а порыв! Как-то Бокова зашла к Васе, но в ее сумерничающий плюшевый кружок не была допущена. После окончания гимназии с отличием ее хотели отправить учиться в Прагу, а она застрелилась. Я был на отпевании в кладбищенской церкви. У открытой могилы — должно быть, бабушка — раздавала кутью. У рядом стоявшего мальчика лет двенадцати

были такие же голубоватые глаза, тот же острый зрачок, но он видел и плакал. Называл я Валю Бокову — *настоящая*, и никому она была не нужна, хотя ее и оплакивала семья — бедная семья железнодорожного сторожа. Вот и не помню даже, как она играла завороженного Амала, только ее слепые зрачки сверлят. Виноват, очень виноват, и как-то я додумался: только тем и могу искупить, что тоже умру, как бы ни кочевряжился, тоже буду разлагаться, и сколько бы Достоевский ни говорил о воскресении, а Блок о преображении, но их речи этой ненужной и втайне страстно жившей Вале Боковой не помогут. Вот когда тошнило от всей жизни и от самого себя, как от приторно-сладкой кутьи.

Лет через пятнадцать я зашел по делу к таким-то, в Нарве. На столе ее фотография.

— Вы, вероятно, сестра... — Да, конечно, и у этой матери семейства те же глаза, зрачки, но без того пристального и слепого внимания неизвестно к чему. — Как странно, необъяснимо, и как жаль, — говорю я.

— Да, конечно, но сестра сама не знала, чего хочет, — спокойно заявила мать семейства.

На том же Александро-Невском кладбище я впервые увидел треугольник летящих журавлей, и издали донеслось их отчаянно-блаженное курлыканье.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Почему я поступил именно на юридический факультет, а не занялся филологией? Отец прочил меня в адвокаты — это свободная профессия, никакого начальства, денег будет достаточно, поедешь за границу, а с дипломом филолога одна дорога — в гимназию. Разве ты хочешь быть учителем? Я не хотел, и об ученой карьере тоже не помышлял.

Опять Юрьев, город малолюбимый, но меня радует свобода — делаю что хочу. Впрочем, долго в Юрьеве я не задерживался и лишь изредка слушал лекции. Можно было приезжать туда на экзамены из Ревеля.

Юриспруденция мне определенно не нравится. Точное определение самоочевидностей и ничего больше, но ласкают слух некоторые латинские изречения: do ut des — дашь — дам! Кому принадлежит остров, возникший в реке, — insula in flumina natas?

Крохотный сморщенный старичок — бывший российский сенатор, профессор гражданского права Игорь Матвеевич Тютрюмов. Из-под дореволюционного сюртука вытарчивает красная фуфайка, всегда ему холодно, он жмется, как будто боится студентов, и говорит в нос:

— Расскажите о попечительстве над расточителями, как это будет по-латыни?

— Cura prodigi.

Если он в скверном настроении, досадила молодая жена, то еще больше жмется, вздрагивает и смущенно лепечет:

— Не знаете, ничего не знаете...

Но через две недели неизменно ставит пятерку.

Римское право: грозный Давид Давидович Гримм, бывший ректор Петербургского университета, читает римское право, *романист.* Кладет на стол золотые часы:

— Я принес их вам для заклада во времена Юстиниана, ну-ка, совершите эту операцию...

Половина профессоров русские, но есть и эстонцы, которые, хотя и неохотно, еще экзаменуют по-русски.

Зубрил, сдавал, дважды проваливался по уголовному праву, ибо криминалистика требовала соображения, а мне легче было вызубривать гражданское право, и римское, и прибалтийское.

Если не готовился к экзамену, то бездельничал. Часами сидел в кафе или же у Стерны, принимавшей всех приятелей в любое время дня и ночи. Так она и не оправилась от детского паралича и ходила на костылях. Рыжие волосы прикрывали кукольное личико, всегда курила и если не было посетителей, записывала в огромный том все беседы и события. Приятели этот дневник читали, и если что им не нравилось, вырывали страницы. Делали у нее что хотели: читали стихи, пили водку, картежничали. Бывал здесь и Борис Вильде. Манеры у него были не наши, не ревельские. Сдержан, цедит сквозь широко расставленные зубы, небрежно рассказывает неправдоподобные истории:

— Деньги были нужны, а у меня только револьвер. Пошел в парк, там, конечно, парочка. Руки вверх! Те перепугались, а я говорю: не хотите ли взять эту вещицу под залог, за десять крон?

Несвязных, диких наших рассуждений он не любил, отмалчивался и писал скучные чеканные стихи под Брюсова и Гумилева. Вскоре исчез, поехал на Запад безо всяких средств, и изредка присылал открытки из Берлина, Монте-Карло и из Парижа: адрес — у Андре Жида.

После полуночи читал без разбору до восьми утра и поднимался к четырем часам дня. Философия: преимущественно „введения", „истории", Виндельбанд, Гефдинг, из текстов только Платон и досократики. Сотни монографий: Пселл во французском переводе, но больше по-немецки о тамплиерах, Лойоле, Бенвенуто Челлини, записки Казановы... Перед сном жил их жизнью, „воображался" кем угодно: интриговал при дворце базилиссы Зои или горел с храмовниками на кострах Филиппа Четвертого, клялся на Монмартре, дрался в римских остериях. Но воображе-

ние обеднело: московский мальчишка, бегавший за коровами или твердивший Керетаро-Каракас, был куда смелее, свободнее. Слов у студента было сколько угодно, но это были чужие слова.

Все еще одурял Блок, но хотелось и какой-то другой интонации — декадентски-капризной Зинаиды Гиппиус. Как это ловко она выругалась, захлопывая окно: какая-то лягушка... а может быть, она знает *о самом важном!* Архаические вещания Вячеслава Иванова: Жрец нарекись и назовися жертва... Такой стих упоительно рычится, как прежде Державин, прославлявший брадатого Борея... А заклинания Сологуба: Елисавета, Елисавета, я весь в огне... Брюсов, Бальмонт, Волошин уже не принимались всерьез: это только блестки, позументы, пустой звон! Но мы могли читать наизусть целые страницы из „Первого свидания" Андрея Белого: Михаил Сергеич улыбнется... Стекло пенснейное взовьется...

Я понимал, очень уж я разбрасываюсь, и хотелось что-то на самом деле изучить, знать. Я набросился на формалистов: *Как сделана „Шинель" Гоголя?.. Путь Пушкина к прозе...* Нравилась забавная терминология Шкловского: остранение, торможение, снижение... Целые ночи напролет вымерял стихи Блока или Гиппиус: у кого сколько пиррихиев, нет ли какой закономерности в „дольниках", и если находил симметрию, то это называлось логаэды...

Вспомнил, что в Юрьеве живали Жуковский и Языков: никогда ими не увлекался, а все же они настоящие поэты и бродили по берегу небыстрого Эмбаха, по аллеям Домберга. Студент Николай Языков, не сдавший за все шесть лет ни одного экзамена, в пьяном виде раздевался донага и плясал на столе вокруг чаши с пламеневшим пуншем. Был влюблен в жившую здесь Сандру Протасову, жену литератора и „скверна вца" Воейкова. Тут же пребывала ее сестра Маша Мойер: ее похоронили недалеко от ворот русского кладбища. Жуковский, проезжая за границу, выходил из экипажа и предавался сладостно-меланхолическим воспоминаниям:

Ее могила,
Как рай спокойна.
Звезды небес,
Тихая ночь...

А языковские стихи „Быстры, как волны, все дни нашей жизни" до сих пор еще распеваются студентами.

Тогда же увлекался Розановым: казалось, можно и нужно писать только так, как он писал: на манжетах, на подметках, сразу обо всем. Бог гладит утюгом человека... душа — запах плоти или — золотые рыбки в грязном аквариуме... после купанья хорошо съесть огурчик и выкурить папироску... будем ли мы курить на том свете?.. Мир со всеми сушеными грибками и вечными проблемами — нечто вроде большого свинарника, и в нем тыкается пятачком в собственные нечистоты несравненный Василь Васильич и — счастлив! Жизнь — блаженное свинство, но, увы, хрюшку пожирают, а человека закапывают: тот же знакомый мне с детства ужас. Смерть так ужасна, что не должно было бы быть на человеческих языках слова, обозначающего это явление!

Из дому прислали денег, выпил кофе со взбитыми сливками, съел эклер, корзиночку, трубочку, взобрался на Домберг, на каштане заверещала белка, прошли две немки: креповые вуали, мантильки девяностых годов, стоптанные ночные туфли, ревматические пальцы, полуприкрытые заштопанными митенками. Все это надо записать, что и делаю, но как глупо получается, болтовня Василь Васильича неподражаема.

Я летел вверх тормашками в упоительном аду Достоевского — убивал старуху-процентщицу, кутил с Митей в Мокром, пил чай с Кирилловым, скандалил в доме генеральши Ставрогиной, плясал литературную кадриль с Лямшиным, а где-то уже бьют в набат: Федька Каторжный пустил красного петуха. Из этого достоевского мира семенит Василь Васильич, добровольный шут, новый Лебедев: все ему забавно, для него инфернальная Настасья Филипповна *есть Барашкова*, вскидчивая барынька, но и он мечтатель — молится за упокой души грешной графини Дюбарри, рассказывает гениальный анекдот о средневековом монашке, который съел столько-то младенцев и раскаялся, потому что в Бога верил, которого прогрессивная цивилизация отменила, а реки крови льются и теперь вопреки прогрессу. С Достоевским веселее, с Розановым — уютнее. Подпольный человек пил чай кому-то назло, а Василь Васильич в свое удовольствие, и нет конца его болтовне о Боге, о грибочках, огурчиках: нет, есть конец, и поэтому

те занафталиненные немки прикрыли морщины креповыми вуалями, которые в детстве я называл *музеями*...

Лекции Николая Александровича Бердяева в Ревеле. Особенный — орлиный, *древний* профиль, особенная пергаментная масть лица, рук и мучительный тик: выворачивание языка, как у повешенного (или это жест отвращения — его тошнит от жизни!). После выступления в местной Имке (YMCA) прошу его о свидании. Он терпеливо выслушивает мои несвязные речи: тут и Достоевский, и Розанов, и Блок, и современная „динамика". Что на самом деле *значит* в современном мире? Машина и пролетарий, как в блоковской Новой Америке. Машина убивает, пролетарий тоже — опять войны, революции, но даже обывателя Розанова увлекала новая электрическая эпоха. Какой размах, сколько страсти!

— Что хорошего в страстях? — недоумевает Бердяев. — Страсти обманывают, разряжаются в пустоте... Я осуждаю реставраторские мечтания белогвардейцев, я до сих пор ценю Маркса, но не обольщайтесь дьявольской динамикой. Вы проповедуете какой-то христианский троцкизм.

Все же он поместил в своем „Пути" мою дикую статью „Машина и пролетарий", с оговоркой редакции: мы не согласны с мыслями автора, но они характерны для некоторой части современной молодежи... Это была моя неудачнейшая попытка выйти из моего добровольного подполья, набитого стихами, папиросами, мечтаниями всех оттенков — достоевского, розановского, блоковского и чуть ли не тамплиерского... А был еще и расчет: нельзя же оставаться в провинциальной Эстонии! Из-за „переизбытка" интеллигенции в адвокатуру я так и не попал, и вообще не мог получить никакой работы, и не было у меня прыти Бориса Вильде, чтобы добраться до Парижа и жить на квартире Андре Жида...

Старшие говорили: „Мы уже не увидим Россию, а вы доживете..." В двадцатых годах даже эстонцы и немцы часто отдавали детей в русскую гимназию в надежде, что потом они развернутся в свободной России. Однако надежды таяли, укреплялся страшный Сталин. Но вот знакомый гимназист, собиравший „все о Чехове", уехал со своей коллекцией в Москву и работает теперь в Чеховском музее. Еще кое-кто уехал, но в тридцатых годах все уехавшие были обвинены в троцкизме и погибли в концлагерях. Мои

бредни о пролетарии и машине сменились другими бреднями, леонтьевскими, и Бердяев их весьма не одобрил.

Среди чудаков, приходивших в Юрьеве к Стерне и увековечиваемых ею в огромных дневниках, был и Александр Григорьевич Гринев. Это был блаженненький художник, ему было лет тридцать, а волосы седые: говорили, что он участвовал в белом движении и поседел от ужасов войны. Красивые узкие руки и прыскающий детский хохот. Сразу вынет из папки рисунки, показывает: вычерчивал он пестрые здания в виде диковинных цветов. Все пояснял в придаточных предложениях, из которых не мог выпутаться: „Если переменить обстановку, в которой мы живем, задыхаясь в домах, напоминающих ящики, клетки, в которых наши легкие отравляются миазмами, теми самыми, которые...” — и он опять давился от хохота, а мысль его была самая простая: если будем жить в домах-цветах, то и сами будем, как цветы! Иногда его сажали в сумасшедший дом, но обычно отпускали — был Гринев кроток и безвреден. Скучно было выслушивать его запутанные рассуждения, но, бывало, я ему завидовал: вот разрешил-таки все проблемы в своей цветочной утопии! Мы все тогда были утопистами, и ничего лучшего, чем этот блаженненький, выдумать не могли. Мысль работала на холостом ходу.

ЧУДАКИ

Чудаки двадцатых-тридцатых годов, — теперь их как будто куда меньше.

В ревельском предместье Коппеле мы переселились в большой дом: сад спускается к самому морю. Перед колончатым фронтоном — широкий дуб, и всегда хотелось сказать: „среди долины ровные", как пелось в старой песне, написанной Мерзляковым, хотя здесь только небольшая лужайка, а не долина. В любое время бормотались чужие стихи и собственные вирши. Увлекался я и старыми, забытыми поэтами. Рычал Семена Боброва, того самого, которого Батюшков, Пушкин и арзамасцы называли БИБРУС, издеваясь над его архаикой и запоями:

Да будет Петр, Бог свыше рек:
И бысть в России солнце света...

Или эти стихи, написанные на спуск корабля стопушечного или стопятидесятипушечного:

Не оные ли полубоги
В полуночных полях растут?

Какие звуки: полу-полу-поля!..

А Милонов, отчеканивший:

По отзывам лиры ценят времена...

Марина Цветаева восхитилась этим стихом. Я тогда писал многим парижанам, и с некоторыми завязалась пере-

писка. Алексей Михайлович Ремизов прислал грамотку за подписью царя Асыки, провозгласившего меня кавалером Обезволпала — Обезьяньей вольной палаты.

Его рассказ был помещен в журнале „Русский магазин". Редакторы были я и Стерна Шлифштейн. Деньги дал ее отец, личность несколько загадочная: на двери вывеска зубного врача, а на приемы никто не приходил. Поговаривали: играет на черной бирже, спекулирует домами. По пятницам сидел перед свечами и невнятно бормотал: это напоминало наше завывающее чтение стихов. В семье иногда ни копейки, а то вдруг разживутся. Никакого порядка в квартире — днем, проходя через зубоврачебный кабинет, можно было увидеть одну из дочерей, спящую на клеенчатой кушетке, и все закусывали походя, чаще всего ночью.

Старый Шлифштейн решил издавать журнал. Но вышел у нас только первый номер. Почему „Русский магазин"? А потому, что я где-то вычитал, что в конце осьмнадцатого века выходил журнал „Российский магазин". Первый номер вышел с писаниями ревельских приятелей, а из парижан, кроме Ремизова, прислал стихи Борис Поплавский. Его письма — без запятых и с орфографическими ошибками, с ятью не на своем месте; корявый детский почерк, зыбкие мысли: „Если что *значит*, — писал он, — то это только удивление и жалость!" Его стихи без начала и конца, везде грязные ангелы, а неведомые Синие глядят в океаны... Его призрачный Париж, приснившийся после фантастического Петербурга Достоевского, Блока, Белого. Но тогда очень его поэзией восхищались. Я мечтал о парижских кафе на Монпарнасе, куда уже проник предприимчивый Борис Вильде. В воскресных номерах „Возрождения" мы читали фельетоны Владислава Ходасевича, но предпочитали им четверговые „Последние новости" с „подвалами" Георгия Адамовича.

Привлекала и Прага, где в „Цехе поэтов" командовал Альфред Людвигович Бем: там насаждали формалистов и поклонялись Пастернаку. О пражанах знали мы больше: оттуда приезжал Герман Хохлов, учившийся в ревельской русской гимназии, но не в нашей, казенной, а в другой, частной. Волосы торчком, скуластое лицо, тускловатые глаза, а голос — флейта. Как он читал Пастернака, как волшебно стонали-пели открытые „а" в этом стихе:

О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б...

Или:

Достать чернил и плакать,
Писать о феврале навзрыд...

Наши философические бредни Германа не занимали, и он укорял нас: „Вы разбрасываетесь, у вас нет готовальни..."

Он всегда был влюблен и всегда читал Пастернака. Я и до него прочел зеленую „Сестру мою жизнь" и лиловые „Темы и вариации". Стихи удивили, кое-что бормоталось. И вдруг пахнуло выпиской из тысячи больниц... Но — никакой метафизики, как у Блока, как у Поплавского, который, казалось, нам, жил еще в блоковском мире, но уже не на Неве, а на Сене. Блоковщина звучала и у Георгия Иванова, но без синего певучего рая. Он „нигилист", „циник", но на какой вольной воле распевали его „ничего", его „нет": „Хорошо, что нет России..."

И кроме этих „нет" было еще „все-таки":

И все-таки тени качнулись,
Пока оплывала свеча,
И все-таки струны рванулись,
Бессмысленным счастьем звуча.

Это означало: блоковская музыка никого не спасет, она обманула, а *все-таки* она есть.

Пастернак — только диковинный соловей: страстно щелкает, выкидывает лирические коленца, а что за этим? Только „любовное томление" Фета, тот же шепот, робкое дыханье?.. Даже нет фетовского грозно-блаженного отчаяния: „Измучен жизнью, коварством надежды..."

Но Герман восхищал, и поэтому восхищало и его „пастерначанье". Сколько мы выпили с ним пива в ревельских трактирах, которое мы называли по Достоевскому — распивочными. Но никаких разговоров „русских мальчиков" он не признавал: говорил только о своих „любовях", вздыхал волшебной флейтой: „О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б..."

Именно в эти годы некоторые из эмигрантских сыновей начали уезжать в Россию. Уехал и Герман; год-два ра-

ботал в Детском музее, присылал восторженные письма, но в ежовщину был обвинен в „троцкизме" и „получил десять", из лагерей не вернулся.

Марину Цветаеву не любили в Париже. В Праге ее ценили, но предпочитали Пастернака. Зато она была „моей". Обольщала ее архаика, но и грубость — качества моего „первого поэта" Державина.

Гекатомбы, каких не зрел
Мир еще...

Рычал ее Тезей, а Ипполит обозвал классическую Федру гадиной...

Стихи Цветаевой блаженно рокотали, выли, и я скрежетал в нарушающих ритм переносах со строки на строку:

Как живется вам с другою,
Можется...

Казалось, что даже Блок в Дон Жуане так не повышал температуру души, как Марина Цветаева. Метафизики у нее нет, Бог ее не мучил, она имя Его поминала, но Им не обжигалась. Зато Цветаева — земля, земное, ветер, море, огонь, упоительные бури, пожары. А почерк прямой, отчетливый, могла бы записывать кредит-дебит в гроссбухе! Но стихи неистовые. Звучная мифология — Тезей, Ариадна, Ипполит, Федра, Зигфрид, Брунгильда, Ролландов рог, торжественное бешенство Фурии, громы, молнии, потасовка, кутерьма!

* * *

Итак, мы жили в белом доме у самого моря — и сколько в нем жило чудаков, но стихов они не читали!

Покинутая полоумная жена, жившая на алименты, при встречах отвертывалась, давясь со смеху. Кто-то ее спросил: „Откуда вы?" Она, прикрыв рот ладонью, простонала: „Стыдно сознаться... из Острова".

Отставной чиновник, церковный староста, любивший великолепно возмущаться. Ему напомнили, что его черед мести лестницу, и он с наслаждением прогрохотал риторический вопрос: „Разве к нам августейшие особы ходят?"

Ершов, другой чиновник в отставке, прежде заведовал

железнодорожной статистикой, выдумал какую-то замысловатую систему подсчетов.

Жил с ним таинственный англичанин, загоревший до жуткой лиловизны: он с утра поджаривал себя на приморском солнцепеке. Оба ни с кем не знакомились.

Ершов трамвая не признавал, ходил в Ревель пешком. Как-то я повстречал его около немецкого кладбища, и он неожиданно разговорился:

— Веду гигиенический образ жизни. Утром обливаюсь холодной водой, а вечером парюсь в чане, накаляемом примусом. Никаких газет! Предпочитаю решать логарифмы...

А на лужайке, как бы „среди долины ровные”, под сенью могущественного дуба паслась коза Дуся, и я любил с ней возиться: напоминала она стародавнюю любовь мою к Махотке.

Дусины хозяева — немцы средних лет, Шмидты, живут в одной комнате, похожей на мастерскую, — верстак, стамески, молотки, гвозди и сложные запахи Ноева ковчега. С ними обитали подобранные или оставленные звери: хромая собака, кривая кошка, нелетающий голубь, неговорящий попугай, и там же ночевала Дуся.

Шмидт, нищий, но не унывающий изобретатель, занимался усовершенствованием какой-то диковинной машины.

Дворник жаловался начальству: коза обрывает кусты, и Шмидты должны были держать ее дома.

Шмидтиха ночью нарывала траву в саду, а утром теми же кровоточащими руками мыла посуду в столовке. И тоже не унывала.

— Es wird schon besser sein...* муж на все руки мастер, на днях возьмет патент... или получит место в Phasanerie, тогда заберем всех наших питомцев.

Незапоминающееся лицо, полуседые космы, а на куриной шейке поблекший шелковый платочек. Шмидт — миловидный брюнет, ходил в потрепанном рабочем комбинезоне, но всегда до блеска выбрит, значительно покашливает, весело подмигивает: “Alles in Ordnung!”**

---

* Скоро все пойдет на лад (нем.).

** Все в порядке! (Нем.)

Мое бормотание стихов, жеманные признания „островитянки", риторические вопросы церковного старосты, солнцепоклонничество лилового англичанина, логарифмы и припарки Ершова, perpetuum mobile Шмидта — это все явления одного порядка, одинокие игры, блаженное чудачество.

Фрау Шмидт тоже, конечно, чудачка, но чином повыше: если есть святые, то она, несомненно, святая... В раю животных...

ПЕЧЕ́РЫ

Я еду к месту моего назначения — как писали когда-то...

Сугробы, санки, русский возница. Площадь с тремя домами — символами эстонского малодержавия: народный дом, гимназия, отделение государственного банка, а напротив — двухэтажные особняки. Один из них и есть *место моего назначения* — податная инспекция. Звучный эстонский язык мне не давался, я говорил с немецким акцентом, стилизуя третий иностранный язык под второй. Это сослуживцам не нравилось, они думали, что я из онемеченных эстонцев или *можжевельниковый* немец, притворившийся русским. На службе высиживаем с восьми до трех. Я ведал наследственным налогом. Являлись бородачи в дубленых полушубках, и я взимал с них требуемое за унаследованные ими восьмушки или даже шестнадцатые доли гектара. Иногда выдавал *квитки* на покупку лилового денатуратного спирта с наклеенным на бутылку изображением черепа.

В Печерском уезде пили дешевую денатуратку-ханжу, и поэтому продажа ее была ограничена. Приходилось объяснять, что на разжигания примуса больше одного литра в месяц выдавать не полагается. Работы мало, и я, обложившись делами, писал письма, кропал вирши или же по памяти вычерчивал генеалогические таблицы. Сослуживцы лениво сплетничали и вяло грызлись между собою. Когда податной инспектор совещался с прибывшими из Ревеля контролерами, они подслушивали у дверей, приложив ухо или глаз к замочной скважине. Чем не Гоголь! Но взяток не брали: миновала поэзия исчеза-

ющих в бюрократических рукавах и ворохах кредиток. Кувшинные Рыла, несомненно, поэтичнее этих честных пошляков и по сравнению с гоголевскими чиновниками выглядели они скучно-благообразно. Дослужился я до секретарства, и если бы не мировая война, быть бы мне лет через двадцать податным инспектором. При этой мысли мои поредевшие волосы встают дыбом. Нет худа без добра...

В долине Псково-Печерский монастырь, окруженный серо-каменными зубчатыми стенами и башнями: не раз отражал он приступы поляков, шведов. За первыми вратами внутренний дворик с церковью Николы Ратна: это одноглавый храм-просфора с лепным крылечком — пазухой. Здесь бились с ворогом, и за Николу ему прорваться не удавалось.

На пригорке, у спуска в долину, под стеклянным колпаком карета, жалованная императрикс Анной Иоанновной, как ее называл Тредьяковский. Ниже другой двор с вросшей в холм Успенской церковью, украшенной декоративными барочными главками, и рядом псковская звонница — тоже будто вылепленная из круто заквашенного теста. Под звонницей вход в *Богом зданые* и человеком расширенные пещеры, где хоронили иноков: зимой тепло под их сводами, а летом приятно-прохладно. Посередине двора артезианский колодец с колонками, в ложнорусском стиле Александра Третьего. Еще две церкви и казарменного вида здания с монашескими кельями. А выше Михайловский храм с ампирным портиком: так что в монастыре отразились разные эпохи, начиная с шестнадцатого века. На одном из подъемов домик с галерейкой, где жил схимник. У верхней стены окруженный решеткой дуб: навар из его коры помогал мающимся зубами, поэтому-то и оградили древо. Отсюда вид на поля, засеянные рожью, пшеницей, овсом, гречихой и знаменитым псковским льном-долгунцом: как он нежно-русо желтел к концу лета. После жатвы лен разбрасывали по полю, мочили, и он одуряюще, но и ободряюще смердел, прожигая ноздри скипидаром: вдохнуть бы опять эту едкую, неистовую, отвратительную, но и чем-то целебную вонь, очищающую нутро, самую душу... Весной в овраге за монастырем стеной поднимался стон-звон

медведок, так в Печерах именовались цикады. На дне этого оврага — округлый Китов камень, исцеляющий от бесплодия. По ночам на него голым животом наваливались бабы.

У монастырских стен десяток улочек с деревянными, не обитыми досками, кренящимися домами. Мой приятель, Юрий Ш-ский, отработавший *декаду* в Конго, приехал тратить свою ренту в Печерах и жил на Задней улице, у Коровьего спуска; я понимал его восторг, вызванный абсурдным контрастом африканских джунглей и русской глуши. А я поселился в Бутырках — бывшей деревне, которая вошла теперь в городскую черту. Хозяева — Пименовы: Батя, Миша, Маша. Батей назывался старший брат, он когда-то отказался жениться на богатейке-хуторянке Топленихе. Я видел ее на сельском празднике: насурьмленная и нарумяненная кувалда под зеленым зонтиком, из митенок вылезают красные грязные пальцы. А не женился Батя оттого, что жил для семьи. Все заработки волостного писаря отдавал на обучение брата — гимназическое и университетское. Теперь он служил в земской управе, а Миша ничего не делал: страдал запоями и лишился места учителя в гимназии. Незамужняя сестра Маша вела хозяйство. Поселился я в большой низкой чердачной комнате.

— Горенка эта пустовала, и мы не заметили, как под половицей хорчиха хорчат вывела!

А на лестнице обдавала теплая вонь из коровника с примесью сладковатого запаха хранившихся на чердаке яблок. На стенке литография Моря житейского.

— Е грабельки, — звучно кричала Маша Мише, и он отзывался: — Есть!

Двери просты означало открыты. *Пожни* — луга, *дьянки* — рукавицы, *возгрея* — насморк.

Я столовался у Пименовых. Долго засиживался после обеда. Выразительные рассказы Бати. Поглаживая яйцевидную лысую голову, он трагически поднимает вершковые брови, пучит карие глаза:

— Факт налицо, сказал отец игумен, заглянув под кровать монаха, куда он ставил пустые бутыли. Отец Никон пьет, вон его!.. И сослал в отдаленную пустошь гусей пасти.

Бывало, соберутся у нас молодые учителя, хлопнут по маленькой, закусят огурчиком, грибочком и поют до зари: „Вы жертвою пали в борьбе роковой...” А большевиков Батя ругал, говаривая, если бы да кабы Столыпина не убили, не проливались бы реки крови... Но не без сочувствия внимал по радио речи Сталина, даровавшего конституцию: одно слово — хозяин!

— Вчера играли *авантюру* к „Пиковой даме”, что бы это значило? Славно играли... Увертюра, говорите... значит, опростоволосился! А моя Топлениха крутила с фельдшером и начала заговариваться: „Вон крестный ход пошел с *хирургами*!”

Мише лет сорок: статный, красивый, а по вечерам голубые глаза — масляные, блаженная улыбка. Лыка не вяжет... Очень за ним следили, и все же выдавали одну-две рюмки водки. Если не дать — того гляди сбежит и запьет с приятелями из печерского Просветительного общества, где его выбрали председателем.

Маше под сорок: кажется, была она красавицей, те же голубые глаза, что и у брата, благородная горбинка носа, но платок спускался со лба, даже летом носила она теплые, толстящие кофты, горбилась и казалась почти старухой. Всегда работала на дому, в огороде, раньше всех поднималась и шла доить. Привязывалась к коровам, даже к свиньям, и часами рыдала, когда Батя приговаривал их к казни. Осенью покупался для нее на зиму деревенский мальчишка лет двенадцати-тринадцати. Кажется, около Покрова крестьяне привозили этот живой товар, продававшийся у кладбища. За зиму родители-бедняки брали столько-то эстонских крон, но надо было еще справлять пареньку валенки, сапоги, шубенку. Работой Маша не отягчала, а весной при разлуке с мальчишкой опять рыдала.

Надоело жить каким-то бесплотным духом, читая чайкам Блока и дурея от поэтического бормотания и зыбких мечтаний о светлом будущем.

Черт Ивана Карамазова хотел воплотиться в семипудовую московскую купчиху, а мне захотелось стать печерским мещанинишкой. Бытия не было, так пусть будет быт!

Темным зимним утром заглатываю горячий чай, а Маша спрашивает:

— А вы на свадьбу пойдете?

Свадьба — событие. Шпалеры жутковатых шепчущих-

ся старух. *Гряди, голубица?* — и невеста шествует под обстрелом колющих взглядов.

А после обеда Маша позвала меня однажды смотреть покойника.

— Я уже побывала. Нас до сорока набралось, обмываем, а вдовица встала в угол, будто в школе ее наказали, так и простояла два часа...

Невенчанной царицей бутырских женщин была Горёниха. Ее поругивали, но каждое слово ее повторялось. Если она кого хвалила, что случалось редко, то говаривала: он не очень отвратительный! А обо мне Горёниха сказала: „Человек неглупый, но словно дали ему пыльным мешком по голове, идет по Бутыркам и бормочет себе под нос. Пошла за ним, а он подвывает: „Какому хочешь *лиходею* отдай разбойную красу... — (Видно, блоковский *чародей* ей не пришелся по вкусу.) — По ком у него сердечко ноет? Уж не по Шмитовой ли сохнет?"

В июне День русской культуры, выдумали его интеллигенты, а праздник стал народный. Шествие по городу: впереди сребробрадатый Красов, один из высланных Лениным земских деятелей, ему речь говорить. И он пробасит, поглаживая седины: „Была Русь, была Россия, есть Эсэсэсэр, а будет Русероссия". Рядом дородная Мария Петровна, жена подрядчика. Алый сарафан, кокошник веером — не символ ли она Русероссии? Споют для приличия эстонский гимн, а вместо русского — „Коль славен". Сыграют „Женитьбу" на открытой сцене, и всем распоряжается Миша Пименов, председатель. А потом часами тренькают балалаечники и поют хоры — не только печерские, но и из отдаленных деревень, и из Изборска. В белые ночи всюду спевки: своих баб учит Горёниха. Ей припевают, а она, руки в боки, заливается соло:

Теща про зятя пирог пекла,
Соли, муки на четыре рубля.
Сахару, изюму на восемь рублей,
И вышел пирог во двенадцать рублей.
Теща по горенке похаживае,
Похаживае, приговаривае:
— Чтобы тебя, зятюшка, ра-зорвало!
Чтобы тебя, зятюшка, ра-зорвало!

А Шмитова — Мария Карловна Шмидт — свободная

художница. В четырнадцатом году их, московских немцев, сослали в глухую деревню, не то пермскую, не то вятскую. Дети опростились, играючи с деревенскими детьми. После Брест-Литовска уехали в Германию. Немцев Мария Карловна ненавидела и, после разных странствий и приключений, недавно поселилась в Печерах. Ярко раскрашенные стульчики, столики, художественный беспорядок, нечто вроде синего зипуна с костяными пуговицами, заикающаяся речь. Писала иконы — и плохо, но ей удавались лубочные картинки, гравюры по дереву. Часто уходила в деревню, которая прежде называлась так, что и выговорить нельзя, поэтому сократим название — Уилкино. Поговаривали о каком-то ее простонародном романе у ракитова кусточка. Были мы приятели. Все же Горёниха в своих прогнозах ошиблась... Марье Карловне тоже захотелось быта вместо бытия, как и Юрию Ш-скому, который приехал из фантастического Конго, чтобы поселиться на Задней улице у Коровьего спуска! Его я называл дикий барин, хотя на тургеневского героя он нисколько не походил. Слегка прихрамывал, а в прищуренных глазах — темное пламя. Очень он на свой лад в Печерах увеселялся, и столь таинственно, что даже Горёниха в его секреты проникнуть не могла. Оба такие разные, а приехали сюда издалека — из Дрездена и Браззавиля, за тем же — за мечтой, и мечта стала для них былью — бытом, а бытия нет да нет. Это и я ощущал.

По четвергам я сражался в черви с ветеринарным врачом Полянским, его женой и Л. Ф. Читали они парижские эмигрантские журналы, газеты, так что кроме карт было нам о чем поговорить. Георгий Владимирович — всегда чисто выбритый, подтянутый, опрыснут одеколоном. Седые волосы, черные глаза, изумительный рассказчик:

— Псков, июльская жара, толпа у речной пристани. Дородная купеческая вдовушка обмахивается ложноиспанским черным веером, тут же ейный хахаль, размахивает тросточкой, поправляет пенсне. Подплыла павой к причалу, а в последнюю незанятую лодку уже впрыгнули веселые студенты. Повела роскошным плечиком, прищурилась и будто актриса какая медленно, отчетливо, звучно произнесла:

— Типичные люди!

— А вы, сударыня, сами тип из Островского.

— Очень надо...

Полянский не любил ни Печер, ни своей работы.

— Можете себе представить, вот эта самая моя рука была сегодня в корове!

А лечил отлично, и его любили, прощая ему некоторую польскую надменную брезгливость. От Полянского я узнал, что куры болеют дифтеритом, свиньи рожей, а коровы и кобылы иногда нуждаются в повивальной помощи. Да, всего этого он не любил, но его спасал от скуки художнический прищур проницательных черных глаз...

Сеты — это те же эстонцы, но еще в шестнадцатом веке были обращены в православие, а маловразумительный жаргон сохранили до нашего времени. Сету-бабы приезжали в Печеры в длинных белых кафтанах. Под белый платок накладывали нечто вроде льняного парика, и голова принимала квадратную форму. Сету-мужики пили ликву — воду с эфиром, и на Пасху церковь их пахла, как операционная палата. Темные люди, куда темнее своих русских соседей. Болели трахомой и чем-то похуже.

Я побывал на храмовом празднике, куда стеклись и сеты, и русские. После обедни часами обносили вокруг церкви каменный крест, опущенный в лохань с водой. Тех, кому удавалось дотронуться до мокрого креста, щипали до него не дотянувшиеся, чтобы перелить в себя чудотворную силу. На паперти сету-бабы накладывали творожное сусло на ладони гугнивых нищих, и те, благодарно урча, размазывали по лицу белую жижу. А на кладбище пировали на могилках, и там попахивало эфиром — ликвой.

Как-то Полянский рассказал мне о своем вознице-сету.

— Вижу опустелый хутор, окна заколочены. Спрашиваю: „Уж не вымерли ли все?"

— Не, а козяин жил карошай, с Россия пришель, без шены (жены), и новай шена брал. Но приехаль и тарый шена. Что делать: один надо ррезать, ррезаль тарый: турма пошель!

— Такой он был эпический человек: одобрял и убийство старой жены, но и наказание. Смаковал рассказ...

Екатерина Михайловна Полянская — из старого боярского рода Бакуниных и, кажется, дальняя родственница

анархиста Мишеля... В институте не училась, но была по-институтски восторженная. Верила в сны.

— Приснился старец и говорит: молебен отслужи! Разбудила Георгия Владимировича, дочек, идем к ранней обедне в монастырь. Сразу узнала на иконе явившегося мне старца: вылитый блаженный Прокопий Устюжский, Христа ради юродивый. Ему и отслужили молебен.

Полянская признавалась, что иногда некстати говорит в рифму:

— Повстречала на монастырском дворе знакомого монаха — регента хора: „Здравствуйте, отец Иона, не сбежали ли вы с Афона?..” Знаете, так само собой сказалось!

Покупая свечи, она иногда просила „свечного монаха”:

— Отец Никита, поставьте за меня свечку. А он мне неизменно отвечает: „Сама поставь!” Знаете, это ведь хорошо для вящего смирения...

— Вы вот Горёнихой восхищаетесь, — улыбнулся Полянский. — А есть еще Морёниха. У ней дом на базарной площади, одной ноги нет, и она часто сидит у своего домика на крылечке. Похожа на парижскую химеру! Знаете ее фокусы-покусы? Завернет в белую бумагу коробку из-под конфет, обвяжет голубенькой ленточкой и подбросит на мостовую. Мальчишка подбежит, оглянется на нее украдкой, а она будто ничего не видит. Паренек разрывает обертку, но, увы, вместо конфет — шарики овечьего кала. Печерский юмор...

А Сладиху знаете? Это наша аристократка. Скрывает, что отец ее сету-мужик три кабака содержал. Получила образование во Пскове: епархиалочка! Приголубила художника-эмигранта, и по его рисункам завела себе обстановку: гостиная скопирована с декораций Добужинского. Помните его постановку „Месяца в деревне”? Красное дерево, карельская береза, но тут же некстати распластанный белый медведь. Вычитала, должно быть, у Вербицкой: „Она отдалась ему на медвежьей шкуре!” И Сладиха тоже любила по-вербицки! Другая прихоть: захотелось княжеского титула, и нашелся старый князь, из худородных — Шелепшанский. Он тоже живет на Задней улице, как конголезский ваш приятель, но на чердаке. Князь читает „Монархический вестник”, а за перегородкой соседка спрашивает хозяйку: „Ну, какой он — шелепшанский князь?”

А та отвечает: „Пустой человек, со Сладихой спутамшись!" Мне сам князь рассказывал! Но от матримониальных планов не он отказался, а Сладиха: протратилась на дом, а чердачный Рюрикович увеличил бы ее расходы...

Тоже мечтательница, и у ней „сон золотой" на медвежьих шкурах и на тургеневских диванах! Воображением жила и химера-Морениха, подбрасывавшая овечьи конфетки. А изящнейший Полянский — художник слова, как и бровастый Батя, и Горёниха, чем не артистка — сплетница, ругательница, певунья! Полянская утешается сонными видениями и забавляется дерзкими рифмами. Шмитова щеголяет в диковинном зипуне, а Дикий Барин из Конго таинственно занавешивает окна, выходящие на Коровий спуск. Сосед его, шелепшанский князь, мысленно переносится на собрание Георгиевских кавалеров в парижском Пасси. Все мечтают, все играют...

Из алтаря вывели босого послушника. Около него топчутся бородатые монахи, и вот уже прикрыли раба Божьего вороньими крыльями мантий. Черная громада медленно движется к алтарю. Заунывное пение — будто запели все покоящиеся в Богом зданой пещере иноки, а имена их Господи веси! Игумен трижды роняет что-то на пол, повторяя: „Возьми ножницы и подажь ми!" Почти все монахи — из окрестных крестьян. В монастыре ведь нет деревенских забот, и хлеб насущный всем обеспечен! Службы — долгие, а ноги — крепкие, не подгибаются. Привычные искушающие помыслы — „что на обед?". Позовут ли читать псалтырь над лавочником — уже болярином. Все же они не только в быту, а и в мерцающем свечами, позолотой, густопоющем всенощном бытии, которое продолжится и там, где вечный покой, вечная память. Но успокаиваться не хотелось...

Кажется, только схимник жил по монашескому уставу и монастырь никогда не покидал. Насупясь, не сурово, а проницательно на всех посматривал, медленно шествуя по двору в церковь. Я к нему ни разу не заходил: мне казалось, что ему открыто грядущее, которое открываться не должно. Я пошел на исповедь к отцу Павлу, жившему в особой келье за крохотной Лазаревской церковью-просфоркой.

Звонят податному инспектору: „Здесь водочный завод — умирает или уже умер ваш акцизный чиновник

Вейде...” Меня послали туда на машине. Лежит на спине, в шубе, струйка крови изо рта, врач уже „констатировал смерть”. Посадили в ту же самую машину, а я его поддерживал. Подали меховую шапку: надевать ли? Я надел, пусть так, как будто он еще живой.

Вейде было лет сорок: чахоточный, щуплый, вроде мальчика, но с ранними морщинами. Любил рассказывать, как в юнкерском училище его наставлял унтер: „Девяносто девять процентов терпения и один процент вдохновения: вот и вся военная наука!” А после его смерти мы вспоминали: утром он, посмеиваясь, рассказывал, что во сне охотился на сибирских тигров — и не потому ли, что видел их накануне, в кино.

— А его самого настигла тигра — смерть, — вздыхая, пояснила уборщица Груня.

Забавный печерский быт, а смерть все та же, отменяющая жизнь. Бытия нет, но оно могло бы быть, и предчувствуется на всенощном бдении. Всегда молился, а причащаться давно перестал. Веры мало, одни смутные надежды.

Внезапная смерть Вейде ошеломила, и я пошел на исповедь не к схимнику, чем-то меня пугавшему, а в Лазаревскую церковь, при которой жил благообразный, но лицемерно-слащавый иеромонах Павел, в далеком прошлом основавший общество трезвенников. Он сказал, что полагается говорить. Ужас утих. Будто принял успокоительные капли, а вопрос остался вопросом... Прав Василь-Васильич Розанов: не должно быть слова для обозначения смерти; называя ее, мы уже миримся с нею.

В нише Успенской церкви рака преподобного Корнилия — строителя Псково-Печерского монастыря. Он явился в сонном видении псковской купчихе Набойковой. Она крикнула ему: „Ты, наверное, хочешь, чтобы я, вдова, постриглась, а не хочу, не хочу! Святый старче, сгинь, сгинь!” И видение исчезло. Именно она дала денег на постройку затейливого артезианского колодца: откупиться хотела. А теперь Христа ради живет в монастырской гостинице. Тихая, темная старушка с клюкой.

Есть быт и в монастыре: игумен разводит индюшек, кое-кто попивает, даже запивает.

Но какие бы ни были монахи, долгие бдения их по ту сторону всякого житейского попечения и им, даже самым недостойным — и для нас тоже — приоткрывается бытие

в ладанном дыму, в лампадном мерцании, и если даже ничего не будет, все же из времени в вечность они поднимаются.

Что наша поэзия, музыка перед чином и ладом православного богослужения!

Всенощное бдение гуще, чище блоковских стихов, читаемых гремящим волнам и кричащим чайкам Балтийского моря.

А есть и другое: с самого детства иногда веяло вольной волей, то ли в играх, то ли лунной сухановской ночью. Смерть мешала, пугала, разлагала, но и верилось, что в жизни все возможно. Я не сомневался в чудесах, ни в евангельских, ни в житийных, ни даже в житейских. Конечно же, сам Корнилий явился тогда Набойковой, и я не раз беседовал с ним в нише у его раки.

Но... иногда недоумеваю, как Василий Васильевич Розанов после очередной беседы со своим духовником, отцом Павлом Флоренским...

Я исходил и исколесил весь Печерский уезд. В 1920 году этот край отошел к Эстонии. Рассказывали анекдот: эстонский министр иностранных дел, парясь в русской бане с советским комиссаром, так ублажил его вениками на полке, что тот уступил ему весь южный берег Псковского озера, всю исконно русскую печерщину!

Что сделали эстонцы? Отняли у двух помещиков земельные угодия, превышающие нормы землевладения. Повелели разделить общинные земли, так что многие семьи в перенаселенном уезде получили крохотные наделы, меньше гектара, но это ничуть не ухудшило, а даже улучшило благосостояние крестьян. Развилось огородничество, и малосольные огурцы хорошо сбывались в эстонских городах. Цены на лен повысились, а если все-таки доходишков было маловато — молодежь отправлялась на торфяные разработки или же ездила *коплить* картошку к богатым эстонским хуторянам. Проиграли одни рыбаки: прежде они поставляли на всю Россию постный снеток, а в Эстонии этой рыбешке, пожираемой целиком, предпочитали кильку и селедку. Все это меня очень занимало. Не был ли Печерский край миниатюрной Россией — такой, какой она могла бы быть после проведения столыпинских реформ или даже после Февраля, если бы Керенский

не допустил большевиков? Иногда я мечтал о самостоятельном печерском княжестве, возглавляемом князем-епископом Иоанном. Был он из сетов, хорошо знал их язык, но считал себя русским, так что мог бы объединить всех насельников Печерского края. Иоанн отказался служить по новому стилю, и его поддерживали крестьяне. Григорианский календарь путал их сельскохозяйственные расчеты: до Иванова дня дождь золотой, говорили они, до Петрова дня — серебряный, а после — менный (медный). Эстонский митрополит отставил Иоанна, и был он *прещен*, не мог служить. Бутырская Горёниха горой стояла за опального владыку, и в канун старой Пасхи ходила с бабами петь Христос воскресе в загородную часовню. Умного и неподкупного Полянского я сделал бы первым министром! Скудные доходы могли бы пополняться туристами и паломниками. А просветителем был бы, конечно, Васильев, мой печерский приятель с самых первых дней по приезде на место назначения.

Походил он на заброшенного в чуланчике „постаревшего" вербного херувима: все еще розовый, но с морщинками, рано оплешивевший. Вот он стоит на шатучих мостках наспех сколоченной эстрады. Ветер ласково треплет русые кудерьки, обрамляющие медно-красную лысину. Грудь выпячена, глаза закатились, рот широко раскрыт: но каждый звук что-то очень уж долго клокочет в горле и тяжело ворочается под языком. Это Васильев ораторствует об очередном святителе русской культуры: и если это Гоголь, то, конечно, Русь-Тройка скачет, а если Кольцов, то призадумывался темный лес... После речи — спектакль с участием местных сил, учителей и *передовой молодежи:* чеховский „Медведь" или забытый водевиль. А вечером, после русской культуры — русская гулянка, иногда заканчивавшаяся дракой. До сих пор еще деревня ходила на деревню, и парни угощали друг друга *песоциной* — обломками обрушиваемого на противника плитняка. Но при мне уже не было ни одного смертоубийства: только поправимое членовредительство.

В Васильеве меня раздражала узорчатая патетика заикающихся речей, а также стихи его со взятыми напрокат у Городецкого лешими или ярилами, вышитые петушки и лебеди косоворотки. Что это за оперный пейзан, проповедующий нарядное народничество? Не та же ли это сомни-

тельная Русероссия сребробрадатого Красова, который поверх разноцветной рубашки надевал черный кафтан, или же лубок эстетствующей народницы Шмитовой, облаченной в синий зипун? Но потом я убедился, что Васильев больше понимал, чем показывал:

— Я вроде попа русской культуры. Она-то хороша. но осточертело мне кадить ее святителям на просветительных праздниках. Лучше бы огурцы разводить, чем трудиться *не покладая языка!..* А все же предпочитаю по-нашему праздновать, а не по-ихнему, в рабовладельческих колхозах, где октябрята распевают: Векапебэ — мой папаша!

Иногда Васильев приносил отпечатанные на папиросной бумаге бюллетени пражской „Крестьянской России". Это уже не сусальное просвещение, а рискованная политика. Издания *крестроссов* Васильев переправлял за советскую границу. Как именно, я не знал и знать не хотел. К нему хаживали умные гимназисты, писавшие стихи и рассказы; многие из них исчезали, и он мне шептал: „Сиганули туда!.." Ходили они и ко мне на мой бутырский чердак.

Июльское солнце, как печь, горячо,
А ветер целует тихонько в плечо... —

медленно читает Виктор, старательно выговаривая трудные для печерян „ч", и ни разу не сбивается на цоканье. Очень он льняной гимназист: русый, русейший, в медвежьих глазах — заморская бирюза.

Говорил я, что в голову взбредет: то приоткрывал им тайны пиррихиев, то сыпал из ницшевского „Заратустры" или же пересказывал споры на московском Арбате во времена Хомякова, Герцена и бредни Андрея Белого, Сергея Соловьева, видевших там зори, зори Софии. А чаще всего читал стихи. Заметил, что Виктор не отзывается на Брюсова, Волошина, Гумилева, Маяковского: „Это студеные стихи", — отмахивался он. Если же ему что нравилось, то говорил: „Слышу, слышу!" Есенина признавал, но больше увлекался горожанами — Блоком, Цветаевой, Мандельштамом, хотя дальше Печер не выезжал. У отца его был хуторок на изборской дороге, где и целовал его ветер в плечо. До меня и даже до Васильева Виктор и его приятели ходили в монастырскую келейку у псковской звонни-

цы, там жил Роман, тот самый, которого я не раз встречал в Ревеле; он тоже крутился около зеленоглазой Васи, и это о нем говорили: из-за Блока не кончил гимназии! Тогда Роман был в блоковском *Страшном мире*, но Алеша Карамазов одолел Незнакомку, и он поступил послушником в Печерский монастырь, где тайком от склонного к возлияниям настоятеля проповедовал русским мальчикам, и не только учение Зосимы — окормлял их блоковскими стихами: что и говорить — искушение, но и пение, какое пение! Голова у меня плохо работает, но знаю, Блок вольется в пасхальный благовест, говорил брат Роман, в миру Рихард фон унд цур Мюлен.

Я шел с изборской станции. Желтели веселенькие льны. Поистине, июльское солнце, как печь, горячо... и нет от него спасения. Кругом ни деревца. От былых дубовых рощ не осталось следа. Погубило их малоземелье, и вот вместо лесов пашни.

Я увидел плоский холм, расчерченный вдоль правильными параллельными линиями: это слои плитняка, той песоцины, обломками которой тарарахали друг друга разгулявшиеся ма́льцы. Наверху — вырастающие из холма крепостные стены. Здесь оглашало рощи трубное имя — Трувор! А каменный Кремль строился в XIV веке, при литовском князе Довмонте, во крещении — Тимофее. Был Изборск крайним северо-западным оплотом Руси. За крепостью не город, а деревня: знакомые бревенчатые домишки, но все они окружены невысокими стенами, сложенными из той же песоцины. К западу другой холм, поменьше, городищенский, и, вероятно, именно там стоял древнейший Изборск. Маленькая псковская церковка-просфорка с гуслями звонницы. Рядом кладбище с Труворовым могильником: огромный каменный крест, а Трувор-то крещен не был! Здесь я встретил плакутку, умевшую плакать по заказу. Небо итальянское, мексиканское, а старушка русская, темная. Она еле слышно, но упрямо-длинно и блаженно-вольно скулит, подвывает:

Распроклятая эта границюшка...

Зачин — явно новый: границу провели и окружили проверкой лишь за двадцать лет, верстах в трех от Изборска, и я видел похаживающего на вышке советского

часового в островерхом шлеме. За этой распроклятой границюшкой помер батюшка Иван-свет-Прохорыч... Пугает смердящая беззубая раскрытая пасть плакутки, я от нее незаметно отодвигаюсь, а она, хотя и полуслепая, тотчас же придвигается, хочет прижаться ко мне, на той же завалинке.

Я спустился к подошве городищенского холма. Там, в зарослях неряшливого ольшаника, я обнаружил все семь Славянских ключей. Таинственные струйки били из каменной глыбы и, незаметно виясь по плитянку, сбегали в небольшое озеро. Я приложился к устью каждого ключа: подземная вода обжигала губы. А солнце все то же самое: как печь, горячо...

Вечером я побывал в соседней деревне Ве́лье у сказочника Грешнева. Обсиженные мухами фотографии родных: все лежат в гробах, и старики, и дети. На подоконнике чайничек с отбитым носиком: очень он четко, как-то окончательно четко обрисовывался на закатном небе цвета испитого чая. Не последняя ли это вещь, которую я вижу на земле?

У старика Грешнева серое, тряпичное лицо. Есть ли у него глаза, нос, уши? Только зев чернеет, как у изборской плакутки. Не сразу разговорился, а потом никак не хотел кончать.

— Ведьма на Ве́лье жила. Народ беспокоила. Над животами насмехалася. Никак ее не взять. Изборяне стали просить пришлого человека, солдата: „Ни пройти, ни проехать, помоги!" Вышла ведьма чесаться, к змеиной пещоре. Тут солдат и убил ее — пуговицей бердянку зарядил.

— О Труворе слышали?

— Пришел Трувор, начал учить. Поставил Городец, поставил храм. А раньше, как дикая зверья́ жили.

Я помянул татар.

— Наше православная вера тверёже! А у них евангелие называется корокодил.

Знал и о колхозах за проволокой:

—Машина е́де, всю деревню везё. И ревуть, здесь слы́хаем!

Открыто было ему и будущее:

— Проживаем последним дням. Мало останется человеческого рода, и будет жизнь хорошая.

А безносый чайничек все так же отчеканивался на

гравюрке, обрамленной оконными наличниками: мне что, я сам по себе!

Благоуханная шуршащая мгла сеновала. Залезающие в ноздри колющие стебельки. Блаженное засыпание на изборской земле.

А в деревне Городище помнят свадебные песни. Там-то и пели эту древнюю песнь:

> Стояли кума́ни потупивши голову,
> Не ели кума́ни травы-детлевины...

Кумани-комони-кони — женихи, а невеста — ута-поплавута. Молодых же величают князем и княгинюшкой. Это ведь их день — княжеский.

В ларях сохраняются парчовые малиновые юбки и расшитые золотом кики. Это уже не современный русский лубок на днях просвещения и вечерах культуры, а красота, лепота.

Хитрая баба Язиха, прозвание ее Беся Рябоватая. О ней же говорят: „Она соплю скиня, старину скажа!" Но Язиха оказывает предпочтение загадкам русского народа:

— Что значит: раздвинул мохнатку, шурык голыша? Дианка (рукавица) и рука.

— Если бы не батюшкин шандык-мандык, заросла бы матушкина шанда-манда... Это помело и печь... А вы-то человек неглупый, да не разгадали, — смеется Беся Рябоватая.

Уже не тянуло читать Блока. Не потому ли, что нет моря, нет чаек? Нет позыва на вольную волю. Даже ночами — лунными ли, белыми. Только осенью еще куда-то тянет — в побледневшее, бедное небо! Оно едва голубеет над позолоченными березами монастырской аллеи, ведущей к ампирному портику Михайловской церкви. Как-то в сентябре в Печеры съехались все архиереи *лимитрофных* республик, из Латвии, Эстонии, Финляндии. Клобуки — белые и черные. Мантии с легким звоном зашитых колокольчиков — голубые — митрополичьи, лиловые — епископские. Это о них сказано: своею легкою развеваемостью они напоминают парение ангельское. Ангелы же — бородатые, согбенные. И на всю эту развевающуюся Византию осыпались с берез золотистые бумажные денежки.

В храм бежит регент Сысоич, о котором Полянская

говорила: „Он к каждому празднику обновляется". Обновился он и сегодня. Седина кудрей и бровей почернена. „Недолго барахталась старушка в злодейских опытных руках", — приговаривал он при каждой выпивке... Вовремя поднялся на хоры, и грянуло с церковного неба: Исполати дэспота!

После осенней вечности житейское время.

Сугробы поднимались чуть ли не до моего чердачного окна, за которым я возлежал на изразцовой лежанке, напоминающей саркофаг.

Или стеной поднимался с бутырского оврага гуд-зуд невидимых медведок, а Горёниха наяривала : „Теща про зятя пирог пекла... Чтобы тебя, зятюшка, разорвало, чтобы тебя, зятюшка, разорвало!" Северное лето — короткое, и все же оно занимало и занимает необъятные угодья времени в памяти. Ласковые льны, покалывающая рожь, а июльское небо, как печь, горячо!

Зачем блоковские морские и степные видения, мечтания? Надо сейчас жить: спешить ночным утром по санному следу, слушать весенний звон в ушах, когда поют медведки, истекать по́том на изборской дороге, заглатывая соль собственного изготовления, а осенью сами собой поднимутся взоры *горе*.

Исподволь слагалась моя осенняя утопия.

ТРАГЕДИЯ УДАЧИ

Незачем мечтать о несбыточном будущем, будь то коммунистическое общество, где каждый получает по потребностям, или же предсказанное в апокалипсисе тысячелетнее царство святых. Вообще незачем человечеству рыпаться, лезть из кожи. Блок призывал слушать музыку революции, но после „Двенадцати" уже ничего не слышал: музыка ушла из мира, и вместе с музыкой ушел и он. Фанатиков сменили бюрократы: те и другие — палачи. После революционного хаоса — советский „космос" колхозов и концлагерей.

„Машина еде, всю деревню везё", — дивился старец Грешнев, и прежде я тоже. Но за распроклятой границюшкой — и крестьяне, и рабочие — рабы. Машина не освободила, а поработила. И достоевские бредни о том, что государство растворится в церкви, — наивное заблуждение, розовая сказочка, как говорил Константин Леонтьев.

Войны, революции двадцатого века, кровавая „романтика" большевиков и нацистов — что-то вроде третьей молодости Европы, и весь этот запоздалый ажиотаж до добра не доведет. Европа старая, да и Россия — старушка, которая барахтается в злодейских опытных руках! Пора Европе быть музеем, и музей этот воздвигнем на осеннем кладбище. Надо сохранять, а не разрушать! Хранители музея — не реакционеры, а умеренные социалисты, как в скандинавских странах. Столпы общества — мещане, но не чистенькие, скучные буржуи Запада, а чудаки, как в Печерах, сплетники, драчуны, краснобаи вроде Язихи или Горёнихи. Они распевают песни — и древние, величавые, и новые — зачастую похабные. Кроме дней русской

культуры должны быть еще весенние действа, вакханалии, как в Бабий день, когда крестьянки напиваются и пляшут, показывая друг другу кукиш, свернутый из подола юбки. Моя осенняя, музейная утопия допускает беснование: если седина в голову, а бес в ребро, то пусть этот бес выйдет из ребра на гулянках, тарарахнет изборской песоциной или свалит у ракитова кусточка. Итак, не революция, а карнавалы! Пестрота мещанской Фландрии на полотнах Брейгеля, Иорданса, Рубенса, но чтобы ее оттенить, нужен и черный фон чопорной, надменной Испании, темные, бледные, отягченные подбородками Габсбурги Веласкеса, здоровенные, столпообразные монахи Зурбарана в дерюгах с каменными складками. Внизу веселая Фландрия, наверху — суровая Испания!

Вместо государств-мамонтов — мировая федерация карликовых республик и княжеств, а в Печерах будет князь-епископ! Монархи — для церемоний, но не монахи. Пусть каждый гражданин вместо военной службы отбывает монастырскую службу. Спорт укрепляет тело, а аскеза — дух, тогда веселые мещане помнить будут, как они выстаивали семичасовые утрени в мерцающей вечности храма, как творили умную молитву в тесных кельях. Это не знаменитое *подмораживание* Константина Леонтьева. В моем царстве-государстве все будет: и спортивные олимпиады, и средневековые карнавалы, и электрическое освещение, и свечное мерцание, и шведский социализм, и испанский церемониал. Мое осеннее солнце мало греет, но светит сквозь редкую золотую листву берез, осыпающихся на архиерейские голубые и лиловые мантии, которые своей легкой развеваемостью напоминают парение ангельское.

Вот чем я бредил на моем бутырском чердачке, лежа на теплой гробнице-лежанке, а из щелей попахивало коровьим пометом и наливными яблочками.

Блок уже не звенел в ушах, его *музыка* обманула и хорошо сделала, что „ушла из мира"! Россия отдала разбойную красу не чародею, а палачам — русским, еврейским, грузинским. Звучал Мандельштам: на все голоса, — то флейтой, то виолончелью распевает его Европа. Я твердил: поговорим о Риме... Что же ты молчишь, скажи, венецианка... Янтарь, пожары и пиры... Мне Тифлис горбатый снится... И пятиглавые московские соборы... Только осенью

так хорошо видно во все концы земли и так все слышно, и римский рокот, и русский шорох. Северный берег Блока скрылся в тумане. Наступила осень: *очей очарованье* Пушкина и ушей очарованье — Мандельштама, которого уже перестали печатать, и он умирал во владивостокском лагере, но о его агонии мы тогда ничего не знали.

Был я худ и хил в Ревеле, *склонялся* к романтической чахотке, а на печерских хлебах-пирогах омордел, обрюхател. Выстаивал у раки преподобного Корнилия, но разве религия только „бытовое исповедничество"? Чего-то не хватало в моей осенней утопии, где только сквозило вечностью на березовой аллее, и вечность уже не нудила, не настигала волнами, чайками, Блоком.

Хорошо же: будет удача, прекрасная, хотя и очень относительная удача, мои веселые мещане и суровые монахи достигнут Мафусаилова возраста. Им в этом поможет современная медицина. Чего еще: не жизнь, а малина! Великолепные шествия, радения под Ивана Купалу, но тут же американский комфорт, бесконечные монастырские часы, даже акриды в египетской Фиваиде, а потом Олимпийские игры, широкая масленица. То пестро, то скудно, все цвета радуги, но и испанская ночь Иоанна Креста. Чего еще надо? Смерть будет желанным сном для насытившихся днями Мафусаилов. А если они проснутся, то небесный рай напомнит им земную осень. Не уподобятся ли они листьям: не быть ли мне кленовым листом — желтым, с прозеленью и красными жилками?

Нет! Где удача, там-то и есть заковыка, там трагедия! Многострадальный Иов не счастливее ли царственного Экклезиаста? Лежа на гноище, он знал, чего хочет: здоровья, жену, детей, овец, пастухов, хлеба, вина. У Экклезиаста всего вдоволь, а он вздыхает, тоскует: все суета сует и всяческая суета. Неудачник может вообразить удачу, а если удача, то чего желать? Безветреного покоя — нирваны? Ведь даже рай ничем не удивит моих счастливцевых. Я пытался уравновесить бывание в быту — с бытием осени, но и бывание, и бытие — это *что-то*, безличное местоимение. Стоит желать не чего-то, а кого-то. Были и есть родные, возлюбленные, друзья, — хорошо бы с ними вместе опадать с райских дерев, с березы, клена, ясеня, дуба, липы, ивы, вяза, даже с ольхи. Нет: мало этого, и снилась мне та жалкая, но упрямая фигурка...

Никак не могу вспомнить, на кого этот человечек похож. Увидишь такого в автобусе и думаешь, для чего он существует? Ни красив, ни дурен, жеваный галстук, рваное пальтишко, должно быть, беден, но его не жалко: отвратительно его упрямство, раздражают мокрые презрительные губы. Того и гляди плюнет.

И все время назойливо молчит, особенно в дождливую погоду: о, он все дожди перестоит без зонтика! Солнце потухнет, а он все будет стоять в безвоздушном пространстве. Ни следа не останется от того, что мы называем миром, ни камня, ни имени, а его никакая сила не сдвинет с места. Шепчет: даже если Тебя нет и не было, я всегда буду ждать, потому что только Ты мне нужен, ни на кого не похожий единственный друг. Ничего мне от Тебя не надо, ни любви, ни радости. Все можно себе вообразить: поражение врагов, всякие красоты, а друг невообразим. Возьми меня и если хочешь, выбрось на помойку, если только она найдется в потухшем мире.

Может быть, человечек этот эстонец, чудин? Jonni pärast — любят говорить эстонцы, чудины, то есть из упрямства я буду тебе противоречить или же делать наоборот! Вот и тот человечек упрямится наперекор всему. Неумилительный.

Русские мои предки жили в прохладце, осторожно тратя давно нажитое, а у немецких — егозил живчик, и они бестолково увлекались, как мой прадед Земпель, который хотел сделать из лифляндского местечка Руэн город, чтобы выбрали его бюргермейстером. Строил никому не нужные каменные дома и разорился. А упряминка моя от чудских мельников: двести лет они мололи зерно, и не от них ли я унаследовал жернова терпения?

А той фигурке еще долго придется ждать. Не похож ли он на тот чайник с отбитым носиком — в избушке древнего сказочника Грешнева? Жалок и вечен, всегда сам по себе на небе цвета испитого чая.

Мою „Трагедию удачи" я послал в Кламар Бердяеву. Писание мое он не одобрил: осудил „реакционную" социальную утопию, а на моего упрямца не обратил внимания.

Был я никому не нужен, но это меня не обескураживало: мечты то мучили, то тешили.

Что на самом деле есть? Только ли свет, исходивший от осенних деревьев? Да, их бумажные листочки-денежки

светились даже в дождливые дни, сияли вечностью на оскудевшей земле, ничего не обещая, но ободряя, и я полной грудью вдыхал разложенный по полям едко смердевший лен, и лепетал стихи Мандельштама:

За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Но кто живет одной поэзией?! Вот завтра четверг, и я пойду к Полянским: сыграем в черви, радушные хозяева расскажут занятный печерский или московский анекдот. А через неделю первое число, и я куплю себе галстук, но еще не знаю, какой — синий или зеленый...

НА ЗАПАДЕ

— Вот приедете в Берлин и ахнете на параде у Бранденбургских ворот! — хвастает новоиспеченный лейтенант, и на него по-кобыльи косится зарумянившаяся Mädel.

Под липами нет лип, которые еще видела моя мать Она говорила:

— Берлин — неизбежный город по пути на Запад... там все похуже, чем в Париже или в Вене. Но есть и размах: благородные дворцы Гогенцоллернов восемнадцатого века и черные зеркала асфальта двадцатого века. Нигде они так не сияют, как на Курфюрстендамм. Но колются сатанинские кривые кресты.

Через шесть лет я опять побывал на Unter den Linden. Вот и расплата: повсюду одни руины. Меня окликнула картавая берлинка:

— Знаете, почему не разрушены Бранденбургские ворота? Для парада союзных войск! — И смеется... Юмор висельника!

Тогда в 38-м, я на несколько часов высадился в Веймаре. Что выбрать, дом Гете или герцогский мавзолей? Спускаюсь в склеп: два ящика красного дерева. Надписи: „Шиллер" и „Гете", — неожиданная для Германии простота. А дальше мраморные гробницы веймарской династии. Лента с давно не виданными русскими цветами: белое, красное, синее — венок от молодежи, лишенной родины, возложена на саркофаг великой княгини и великой герцогини Марии Павловны.

Выхожу в Фульде: ничего о ней не знаю, но в детстве меня восхищало это название. Еще забавнее — соседняя Бебра, но та как будто ничем не славится, а в Фульде что-

то есть. И я не ошибся. Фонтан обвивает гирлянда амуров-херувимов, потешавших князя-епископа. В руках молитвенник, в кармане — не Вольтер ли? Молодой русский путешественник представляется преосвященству в фиолетовой рясе.

— Расскажите о Скифии... Ваша императрица приютила изгнанных иезуитов... У Господа много обителей, где можно преклонить главу!..

В соборе быстрый послушник.

— Где рака Святого Бонифация?

Навсегда запомнились светлые глаза и легкое мановение.

В подземной часовне склоняются накрахмаленные чепцы. А я шепчу Бонифацию в Фульде, как шептал Корнилию в Печерах:

— Не надо войны, не надо!

Вросшая в землю каролингская церковь Святого Михаила. Внутри все кругло, мало, мило. Здесь брезжило раннее утро Европы. На другой день побывал у обедни. Громовая проповедь смуглого патера:

— Теперь у нас говорят о чистоте крови, а я знаю лишь пречистую кровь нашего Спасителя.

Есть и такая Германия — без чарли-чаплинских усиков истерического выскочки.

Взобрался на монастырский холм, где обозревал уже этот *мой* город. Если бы здесь опять правил князь-епископ, как и в Печерах — еще более *моих!* Внизу иголки готических шпилей, а дальше заиндевелые поля и виноградники.

Базель, куда меня выписали друзья. Оттуда я еду на неделю во Францию.

— В Париж собрались? — спрашивает меня в вагоне незаметная француженка. — А что там хорошего? Грязный город!

Здесь некоторый снобизм, рассчитанный на возмущение иностранца. И я действительно возмутился — с детства мечтал о Париже! А тот немецкий новоиспеченный лейтенант перед самым въездом в Берлин уверял, что германская столица — лучший город в мире.

На кафельных стенах метро многообещающие надписи: „Площадь Согласия", „Этуаль"... Обещания были сдержаны, но хотелось бы опять пережить то мое предвкушение Парижа в трясущемся вагоне.

Русская женская община. Высокая кареглазая монахиня. Мне выдают бельишко. Прохладная комната с печкой вроде буржуйки. „Все ли в порядке?" — осведомляется блаженненький безвозрастный соотечественник — он из числа тех русских солдат, которых запрятали во французские желтые дома. Мать Мария (Скобцова) их разыскала и многих приютила у себя. Здесь дешево, но сердито: вдоволь горохового супа, вдоволь оливкового масла, вдоволь хлеба.

Второй день в Париже. Скользкие перила лестницы, темное вонючее многодверие. Какие-то лысые толстяки с упоением посылают меня к черту. Наконец нужная мне дверь: острое лицо. Подстриженные под гребенку волосы.

Цветаева.

— Здравствуйте, Марина Ивановна.

— Тише, Мур спит... — И я увидел разметавшегося на постели пухленького мальчика. — Пойдемте в кафе.

Чего только не навалено на полу: книги, посуда, и я чуть было не наступил на кофейную мельницу.

Через какой-нибудь час я посмотрел на часы: оказывается, уже около полуночи. Значит, я часа четыре просидел с Мариной Ивановной.

Цветаева царила между Блоком и Мандельштамом: „Быть мальчиком твоим светлоголовым... Ты, Одиночества верховный час... И крови ропщущей подземный гул... " Обрывистые ритмы трагедии „Тезей", игра Ариадны:

Выше, выше, пробивши кровлю,
К олимпийцам в лепную синь,
Мой клубок золотой и ровный,
Дар прекраснейшей из богинь...

Блок мчал неизвестно куда, — за зыбкую линию морского горизонта. Цветаева мчала к раненым страстям и героям, к Зигфриду, Брунгильде, Кримгильде, к Байрону, к тому же Блоку. Или великолепно бранилась: „Как живется вам с другою... как справляетесь, бедняк?" А классический Ипполит очень по-русски, по-печерски обозвал классическую же Федру гадиной!

Блок *брал* музыкой, но его *Она* меня не манила. Но манил цветаевский Учитель, бредущий в пыльном пурпуре.

— Это старый князь Сергей Михайлович Волконский.

В голодной Москве я переписывала его книги. Всего, что мог бы сказать, в писаниях своих не сказал. Стихия его — устное слово. Посвятил мне „Быт и бытие”. Насквозь видел быт, так что просвечивало бытие...

— А ваш Давид? Пустоты отроческих глаз, провалы в лазурь...

— Девятнадцатый год, варю пшено на буржуйке, стук в двери, и является он, Давид — поэт Миля Миндлин. Сразу начал стихи читать, а каша-то сгорела...

Разве не сказочна жизнь, пусть и проклятая жизнь, даже жисть. В Москве варила пшенную кашу, а здесь супы для Мура. Та же нищета, а все-таки есть не только быт...

Невидящие светлые глаза, приподнятые удивленные брови, птичьи движения — всегда под углом. Прямая, острая, и отчеканивает, разделяя слова:

— Мне *ни-ког-да ни до че-го* не было дела, кроме поэзии... Хотелось бы быть дочерью малого народа: Бельгии, а еще лучше Сербии. Россию — не охватить... Говорят, о себе много пишу... Нет! Что — я! Вещи требуют от меня выражения: дуб, дом, дым!.. Язык? Хочется говорить, писать совсем иначе... Поэтому всегда любила ошибки иностранцев...

А я рассказал ей, что в детстве восхищался русской речью московских немцев: двоюродный брат мой такое наговорил, что я только ушами развел!

Я три вечера провел с Цветаевой. Париж замело снегом, как Россию в эмигрантском романсе. Прощаемся у станции метро. Я смотрю ей вслед. Склонила голову и кажется, головы нет: Цветаева *завершается* высоким плюшевым воротником, какие носили в двадцатых годах. Талия туго перевязана солдатским ремнем. Собралась в путь-дорогу: я уже знал, что она решила вернуться в Россию.

После долгого ожидания приотворяется дверь. Маленькая фигурка, напомнившая мне старуху-процентщицу, а я, следовательно, Раскольников! Закутана в женские платки, а поверх длинный шотландский шарф. Личико не то обезьянье, не то лягушечье, еле шелестящий голос:

— Днем я ничего не вижу, не слышу, мерзну... — И набивает из окурков папиросу. — Пришли бы лучше вечером, часам к одиннадцати.

В назначенное время опять являюсь к Ремизовым. У

самовара — Серафима Павловна, сожмуренные глаза, сладкие речи. На протянутых веревках петрушки, полишинели, черти, ангелы. Все знакомо по ремизовским писаниям, и мне кажется, что я попал в ожившую книгу, в повесть, разыгрываемую умелыми актерами.

— Попросите Софью Михайловну прочесть из „Онегина", — шепчет Алексей Михайлович.

— А из какой главы? — И она по-детски старательно, безо всякого выражения читает с любого стиха, все знает наизусть.

Очередь за ним:

Цыганы шумною толпой
По *Бэссарабии* кочуют...

Никогда я не слышал и едва ли услышу такое чтение. Голос — юношеский альт, и слова-слоги так вылеплялись, что, казалось, их можно было ощупать в воздухе. Чтение — ваяние!

— А почему вы сказали *Бэссарабия?*

— Не знаю, так уж сказалось. Нерусское слово, вот и нужно было иначе произнести. А теперь Марлинский. Помните, как ему досталось от Белинского, и с тех пор он клейменный ходит, а вот послушайте!

Дом получше, с барскими квартирами. Отворяет немолодой „молодой человек", выхоленный, самоуверенный, безукоризненный петербургский пробор, громкий голос, быстрые движения — Владимир Злобин. Мережковские еще не вышли. Меня знакомят с другим гостем — Георгий Иванов. У него такой же безукоризненный петербургский пробор. Красивое лицо, ясноглазый, горбоносый, но невнятная речь. Облачен в добротный Harris tweed. Вероятно от нечего делать, и слегка на меня покосившись, он начал поругивать Сологуба:

— Елизавета, Елизавета, я весь в огне... А почему не Екатерина? Набор слов...

Колеблясь на высоких каблуках, изумленно лорнируя, театрально похохатывая, явилась Зинаида Николаевна: знаменитые ее медно-красные волосы и протяжный голос, который уже полстолетия звучал в русской литературе.

— Вы из Эстонии? Там Рига, а в Латвии Ревель!

Я поправляю.

— Нет, нет, Ревель столица Латвии, а Рига столица Эстонии! Это пуговицы, пуговицы, оторвавшиеся от той же шубы, а шуба — наша Россия!

Явление Мережковского: маленький, сгорбленный, а быстрый, на ходу протягивает руку. Неописуемые глаза-озера: но едва ли в них потонул Китеж-град... Может быть, Атлантида! Никого не слушает или же не слышит: глуховат. Кто-то упомянул Блока, и имя его он уловил. Взвел озёрные очи и картаво провозгласил:

— Блок! Если бы Блоку пода'или автомобиль, ему было бы стыдно 'азъезжать: у д'угих машины нет! А мне не было бы стыдно, это же удобство, с'едство пе'едвижения! Сми'енно п'изнаю: Блок выше меня.

— Блок назвал меня наядой, которая где-то там плещется у ирландских скал... а почему?

— У вас же есть стихотворение об Ирландии.

— Что-то не помню... Володя, разве я писала об Ирлан-дии?

— Конечно писали и конечно все забыли!

— Лучше дайте мне рому, рому, Володя!

— Никакого рому вам не будет!

Кто-то сказал:

— Почему бы не освободить Россию с помощью немцев?

Мережковский опять вскинул озерные очи:

—'оссия — девушка, сидит в тю'ьме, а если немцы п'идут, то посадят ее в ба'дак!

В студенческие годы с одним моим приятелем мы чуть ли не наизусть знали воспоминания Белого о Блоке и обо всех других героях-героинях начала века: о каменевшем Сологубе, о суетящемся Розанове и, конечно, о Мережковских. Читали и „Живые лица", и вот опять все знакомо, как у Ремизовых. Кажется, что это инсценировка, актеры очень правдоподобно разыгрывают лорнирующую Зинаиду Николаевну, глуховатого, картавого Мережковского. Я же сижу у рампы, даже подаю реплики и наслаждаюсь превосходной игрой. Знаю: они и поумнее могут говорить, но, видно, не нашли достойных собеседников и, дурачась, дурачат, — за что их хочется от души поблагодарить!

Еще в гимназии я самого себя обратил в веру мережковскую и читал докладики о пророке... Это уже далекое прошлое. *Она* занимает меня теперь куда больше, чем *Он.* О чем с ней говорил Блок, Белый и сам Василь Васильич Розанов?

Счастлив, что побывал при мережковском дворе, как и при ремизовском, но одна Цветаева задела в Париже за живое, и я рассказывал ей о моих визитах. Неожиданно она хорошо отозвалась о Мережковских:

— Гиппиус лорнирует, а умная! Мережковский — все путает, а есть у него сущность! Ремизовы же только притворяются... дочку свою отдали...

— Поплавский?.

— Никакой поэт: все взято у Блока или у Проклятых французов.

Но меня восхищали его стихи о грязных ангелах и тонущих герцогах. И я жалел, что его уже нет в живых.

Марина Ивановна нежно отозвалась о Бердяеве:

— Чистый! К нему иногда езжу, а все прочие от меня отказались...

Я знал, в чем дело: исчез ее муж, Сергей Эфрон, как исчез и генерал Скоблин, и к ней относились подозрительно.

— В Россию еду для Мура: его будущее *там...*

Я же про себя договаривал: „...и чтобы увидеть мужа", хотя после возвращения его вскоре уничтожили, как и Скоблина, — мавры сделали свое дело и поэтому подлежат ликвидации.

— Не надеюсь на то, что будут меня печатать. А на жизнь заработаю переводами.

Предложила мне забрать все архивы, но я отказался:

— Эстония — страна пограничная, и мало ли что может случиться! Лучше отдайте рукописи базельским друзьям. И Марина Ивановна согласилась: эти бумаги до сих пор хранятся в Базеле.

Косо падают снежинки и по-солдатски туго перепоясанная Цветаева опять уходит в тьму. А какие сугробы там, в ее Москве!

Я видел многих. Побывал в Кламаре у Бердяева. Ему казалось, что меня соблазнила константин-леонтьевская *философия неравенства*, и беседа не наладилась.

Георгий Петрович Федотов пригласил меня в кафе с видом на Нотр-Дам.

— Вы приехали в Париж на несколько дней, так вот смотрите, — хотя бы теряя время на наш разговор!

Худенький, остренький, тоска в необъятных синих глазах, будто хочется им утонуть в далеком разливанном море синевы без конца и без края... Он тоже, как и Бердяев, корил меня за *осеннее* реакционерство и тоже не замечал моего упрямца, который хочет пересидеть даже конец света...

Высокий, круглоглазый Илья Исидорович Фондаминский, ободряющий шумным своим оптимизмом. Побывал на собрании в его просторной квартире. Были Федотов, Адамович, Георгий Иванов и *Круг* — все молодые поэты, уже седеющие, лысеющие. С некоторыми из них я познакомился в кафе „Селект" на Монпарнасе, который меня разочаровал: широкая улица, каких много в Париже. Поразила неписаная конституция, установившаяся иерархия в кафе „Селект": реплики непосвященных или полупосвященных замалчивались посвященными. Эти могут говорить, а те не смеют рта разинуть. Говоруны рассуждали темно, но и вяло, со многими оговорками, уничтожающими все, что прежде утверждалось: нужно принять участие в неизбежной войне, хотя все-таки этого не следует делать. Не нужно денег, хотя они очень нужны... Смерть — зло, но, вместе с тем, и благо. СССР не Россия, но каким-то образом и Россия... О многом судили теми же самыми штампованными словами: Цветаева — Царь-Дура, написавшая „Царь-Девицу". Разговаривать с ней нельзя: сплошной монолог! Я возражал: „У меня с ней были и диалоги! Вы не доросли до понимания ее поэзии". Но я был непосвященный, и меня не слушали.

Лучше всех говорил Георгий Викторович Адамович, и его окружали плотным кольцом, через которое нельзя было прорваться. Хотелось сказать: Адамовичу-*оригиналу* я предпочитаю ваши скверно списанные с него копии. Жалел, что не было в Париже Анатолия Штейгера. Стихи его — непевучие, без волшебства, какие-то анти-стихи, но хотелось твердить: и надо жить, как все... беспомощно, нечестно, неумело.

Вечера мои были русские, а дни — парижские. Впервые после давно уже покинутой Москвы я почувствовал

себя *дома*, хотя и скверно говорил по-французски. Впрочем, французов я почти не замечал, разве одни *редкости*: бормочущую старуху в салопе до пят или надменного сенсирца в каске с плюмажем и, как сейчас помню, некрасивую носатую француженку. У нее под мышкой незавернутый батон, и она блаженно улыбается, предвкушая, как отломит хрустящий локоток горбушки!

Я не раз проходил вдоль Сены от площади Инвалидов до Ситэ. Серые громады дворцов — гениально-умышленно расположенные в ансамблях: налево портик Мадлен, направо Палаты, посередине обелиск. Конусы Лувра, и уже виден остров: иголка Сент-Шапелль и те незавершенные башни Нотр-Дам. Твержу Мандельштама: „...из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам...” Тут же милое убожество книжных ларьков, увязанные бабьими платками небритые, промерзшие продавцы. Мечталось: завести бы мне такую торговлишку! Тогда можно было бы жить и в парижской Зоне нищеты, в лачуге, сложенной из четырех дверей нужника! Чего еще надо, а Ситэ и Сена — бесплатные приложения! Хотя бы и через день — локоток батона и бутыль кислого вина. Через неделю я уже утопал в сугробах Псковщины, входящей в состав Эстонской республики.

НАШЕСТВИЯ

„Июльское солнце, как печь, горячо...” — писал печерский гимназист Виктор Некрасов — не родственник Виктора Платоновича Некрасова. Да и был он Тимофеич — сын крестьянина.

А сегодня сияет не июльское, а июньское солнце, но тоже горячее.

Неожиданное зрелище на широкой псковской улице. Стою у бревенчатого, досками не обитого домика, которому будто бы дали *под вздоха*, и вот верхний этаж его склонило по кривой над поросшим свежей зеленью тротуаром. Медленно двигаются гусеничным ходом бесчисленные танки. Над одним приоткрывается крышка, и мы увидели трех распаренных красноармейцев. Подтянув ремни, они приосанились и нестройно запели:

Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой...

Вышли печеряне с Поднижней горы, со Средней улицы, и с Задней, с наших Бутырок, из деревни Пачковка, а поодаль стоят монахи Псково-Печерского монастыря. *Деушки* нарвали березовых веток, как в Троицын день, и украшают ими защитно-зеленые чудища с диковинными трубчатыми носами.

Печерский секретарь союза просветительных обществ, Васильев, заикаясь, восхищается мощью Советского Союза — великой России. Отвожу от него глаза. Знаю — он обречен. Правда, месяцев за восемь он распустил печерский отдел пражских крестроссов, но *им*-то все известно!

— Молодцы! — говорит высокий румяный граф А., зять последней помещицы, заблаговременно уехавшей в Бельгию. А он-то нарочно остался: младоросс, и уверен, что наладит контакт с *ними*. Пусть отнимают имение: вместе будем немца бить!

А другой помещик — грузный, рыхлый Д., поправляя золотое пенсне, напевает по-французски „Мальбрук в поход собрался..."

Не уехал и конголезец Ш-ский, живущий у самого Коровьего спуска:

— Меня предохранит от всех неприятностей французский паспорт, а моя русская душа скажет, что делать!

Вот и Шмитова пришла в своем полукафтане. Кто-то вырвал у нее мольберт:

— Что вы, голубушка, вас тут же на месте расстреляют!

Все замечает доктор Полянский, а его жена — из славного рода Бакуниных — незаметно крестит *наших* солдатиков.

Чем чином выше, тем толще: вон бочкой выкатился из машины генерал и, тыкая в карту, кого-то звучно распекает.

Почему у Микельанджело ночной Страшный Суд?

Нет, солнце засияет в последний день, как сегодня: и все заулыбаются, как будто им нечего бояться... Увлечет зрелище. Никогда еще не было так полно в печерской ресторации „Черная кошка". Запивали ледяной водочкой знаменитую селянку и весело галдели.

Что же произошло? Мы уже накануне, около полуночи, услышали по радио — эстонское правительство, как и латвийское и литовское, приняло советский ультиматум. Также сообщалось: никто не будет сопротивляться оккупации этих республик Красной Армией. Польша уже разделена, немцы взяли Париж: и советская контракция — занятие Прибалтики. А придрались к каким-то вымышленным английским проискам...

— Проживаем последним дням, — пророчил изборский сказочник Грешнев, — мало людей останется, и будет жизнь хорошая!

А преподобный Корнилий молчит в нише Успенской церкви. Я предчувствую, что выживу, но все же по теории вероятностей могу вынуть и нечет.

Эмигрантские политики твердили: будет ли Советский Союз побежден или же победит — все равно большевики не удержатся! Но оставим газетные пророчества, надо сейчас жить, по возможности держась в стороне. Подсчитываю, какие за мной числятся преступления? Тетка живет в Германии — это, пожалуй, можно скрыть... Но не скроешь, что два года тому назад был за границей, видел тех-то и тех-то, выписывал четверговые „Последние новости" Милюкова, иногда получал младоросскую „Бодрость". Сколько бумаг сейчас сжигается в плитах, кое-что уничтожаю и я. Захожу к знакомым: у всех преувеличенный аппетит, и у меня тоже, закусываем, запиваем. Может быть, перед Страшным Судом тоже немало будет съедено, выпито.

Словечко, которое чаще всего повторяется у многих хозяев, у Пименовых, Полянских и в других домах, — „порядок"! У *них* порядок! Никакая это не орда, а дисциплинированная армия. Гимназистов подвозят на машинах, угощают папиросами, поют о трех танкистах или — Тимошенко в бой нас поведет! Конечно же — это Россия! А личная судьба не имеет значения, куражится бедный Васильев.

В руках у сержанта томик Есенина. Последний поэт деревни под запретом, а бойцы его читают. Хорошее это слово „боец", куда лучше, чем навязанный Петром „солдат"!

— Какая выправка, любо-дорого смотреть! — восклицает бывший офицер-северозападник. — В девятнадцатом году таких мы не видели... Дрянь была.

— Но эта дрянь отбросила Юденича от Гатчины!

— Что было — сплыло и былью поросло... А есть еще порох в пороховницах: буду окопы копать, если пойдут немцев бить...

Тут все сходились: новая германская война неизбежна, и оказались правы.

Тогда была, хотя и не всеобщая, *русская* реакция, вызванная искренним энтузиазмом, а иногда и подсознательным желанием приспособиться. Но у эстонцев иллюзий не было.

На другой день *взяли* Васильева. А другие аресты растянулись на весь советский год, до следующего июня,

когда началась германская война, и в несколько недель коричневая армия заняла всю Прибалтику в 1941 году.

Граф А. вымолотил зерно в своем имении и уже приказал мочить лен: тогда и его *взяли*. По слухам, его определили в штрафной батальон, и он взорвался на минированной немцами дороге. Забрали и русского из Конго.

Исчезали преимущественно русские: в первую очередь крестроссы, младороссы, заправилы Обще-Воинского Союза, а из эстонцев — чиновники тайной полиции, министры, генералы. Но через год выслали и тысячи эстонских лавочников, учителей, а также протестующих рабочих, базарных торговок...

А через неделю, не без труда, в Печерах образовался *совет* — только он как-то иначе назывался. В Народном доме выступила никому не известная женщина в красном платочке, и первая во всей Эстонии заявила:

— Требуем, чтобы у нас была советская республика, требуем, чтобы, *значит*, входить в великий Советский Союз...

И вошли: во всей Эстонии напуганное большинство голосовало *за*.

Многие меняли место жительства: и это иногда отодвигало арест на месяц.

Все факты — один подлее и печальнее другого. Ни мыслей, ни мечтаний, ни стихов. Целых пять лет войны, а казалось, их было пятнадцать... Те, кто выжил, живут дареной жизнью и забывают об этом.

Сегодня есть нечего, завтра сошлют к черту на сибирские кулички, послезавтра, за неимением транспорта, загонят в лесок и выведут в расход.

Надо жить, а если искать смысла, то рассудку вопреки, наперекор стихиям, как мой неумилительный упрямец, которого вы не заметите ни на улице, ни в трамвае, а ему на всех наплевать! Он тоже ничего не знает, но как хочет, и если ответа не получит, то в дураках останется его искомый неизвестный единственный друг. А-у! Неужели Он не отзовется?

В начале июля немцы заняли уютнейший Юрьев (Тарту), предрасположенный к мирной жизни. Но в прошлом город не раз горел, и от средних веков осталась одна огромная руина готического собора, а все же конца света здесь нельзя было ожидать. Казалось, неизменные придир-

чивые немки, отдающие комнаты внаймы, никогда не вымрут, и всегда будут шуметь их постояльцы — *буршикозные* студенты, празднующие громкие *коммерши* под цветущими свечками старых каштанов на Домберге. Но немки уехали в Германию, студенты, как и все прочие жители, притаились в подвалах, а под каштанами разрывались ядра дальнобойных орудий. Красная Армия укрепилась где-то на севере, на левом берегу небыстрого Эмбаха.

Утром пушки приумолкли. Бреюсь у открытого окна. Визгливый окрик: Alle Männer heraus!

Я успел накинуть пиджак, прихватил несколько ломтей хлеба, непочатую коробку папирос и выбежал на двор. Зеленые *полевые* полицейские привели нас на выставочный плац. Всего набралось около двухсот мужчин.

— Кто-то в вашем районе стрелял в немецкого солдата! А, не знаете? Даем полчаса времени. Если виновник обнаружен не будет, расстреляем каждого десятого. Разойдитесь по баракам.

Все приутихли. Отец шепнул мне:

— Держись около меня!

Я понял: в случае чего он встанет десятым.

Стоило ли родиться, чтобы погибнуть по недоразумению? Отвечаю: стоило!

Но какая там философия: меня мутило. Ложусь и поджимаю живот. Не надо ни о чем думать, и не думалось. Полчаса прошли незаметно, и никакие мои переживания не запомнились. Смотрел на обгоревшую спичку, на нее села муха. Я закрыл глаза — так лучше.

— Кто же стрелял?

Быстро выходит неприметный человек в засаленной кепке. Позднее говорили — дворник. Его уводят, и больше мы его не видели. Едва ли кто-нибудь вообще стрелял. Вероятно, выстрел приснился напуганному немецкому солдату... Взял ли смельчак вину на себя? Был ли тут же расстрелян? Так мы об этом и не узнали. Чем-то он напомнил мне моего Неумилительного незнакомца.... Все-таки нас не выпустили, но и не тревожили. Ночью опять стрельба. Видим огромное зарево пожара. Кто-то заверещал: „Нет, нет!"

Дня через четыре опять всех вывели.

— Выходите все студенты, все, получившие высшее образование!

Не без колебаний я выступил, неуверенный: к добру ли это или к худу!

Привели к бывшему зданию опустевшей Чеки, которая опять наполнилась. Заперли в гараже: там куда неудобнее, чем на просторном выставочном плацу. Десяток эстонских студентов — все веселые, не унывают. Меня растолкали ночью, повели на верхний этаж. Просторный кабинет, мирная лампа. Белокурый офицер с белыми глазами фанатика или кокаиниста...

— Что написал Фридрих Шиллер?

— „Разбойников", „Орлеанскую деву"...

— Помножьте в уме семьдесят восемь на тридцать семь!.. Ну, математика у вас хромает... Можете идти.

Веселых студентов тоже *такое вот* спрашивали. Мы думали-гадали и догадались. Немец хотел послать соглядатаев по ту сторону реки, чтобы установить дислокацию Красной Армии, и испытывал быстроту соображения. А может быть, и забавлялся... Некоторых допрашиваемых он заставлял заползать под диван!

После освобождения встретил знакомого студента Леонида Н. Вид у него был растерянный. Он год проучился в Англии, а в советское время вступил в комсомол, и даже был инструктором. Почему-то остался в Юрьеве. Его нашли и расстреляли. А незадолго до прихода немцев чекисты, не успев увезти арестованных, расстреляли его отца — учителя и бывшего белого офицера. По существу, и отец и сын были далеки от политики. Старший Н. давно уже перестал быть *белым*, а младший из-за какого-то легкомыслия, а совсем не из-за национал-большевизма, стал красным. Оба погибли ни за что ни про что...

А я выжил вопреки всем ужасам, радовался жизни.

Собирая у готической руины липовый цвет для чая, я сообразил, почему именно стоило родиться. Незачем моему упрямому Неумилительному высиживать Бога до самого конца света и позднее тоже... И незачем знать или не знать, чего на самом деле хочешь.

Радуйся, родившийся и еще живущий, и благодари Бога, пока сил хватит. Боль снимет смерть, но ни одна радость не умрет и останется сиять где-то, вне времени...

Красные не успели опустошить эстонские закрома и молочные. *Коричневые* все забрали и ввели карточки. Пьем красный липовый чай, и недосчитываемся многих...

Длинный, и он мог быть длиннее, список моих кузнечиков, стрекоз, бабочек радости и, надеюсь, у каждого есть свой перечень, куда более яркий, чем у меня. Так вся жизнь вспомнилась и, конечно, без последовательной хронологии.

Ай, Петри в детском Крыму, *помавающие главами кравы,* которые не думают, потому что думать глупо, упругенькие грибки и та лунная ночь в затейливой подмосковной, другая сказка в Криуколенном-Кривоколенном, с одинокой бабкой Живаго, окруженной таксами, пуделями, томиками „Русского архива", по-вороньи каркающее попугайно-пестрое Керетаро в Мексике, набор звучных и забавных географических названий — Вальпарайсо, Гоа, Диу, летящие в канаву разодетые куклы-красавицы, единственное данное мной сражение мальчишкам на крыше дровяного сарайчика, ворчливые громы Державина — *С белыми Борей власами,* а Блок несется по черному городу и скрывается за морским горизонтом, в немодной старенькой шубке мчится с Тезеем и Зигфридом Цветаева, блаженное, бессмысленное слово изнемогающего от муки и счастия Мандельштама, блудный отец Версилов, прислушиваясь к заикающейся арии из Лючии, обретает потерянного сына и что-то бормочет о рае на земле, даже жуткие хохороны-похороны с ликующими траурными маршами, чудаки с козами и без коз, печерский мещанский быт со сплетнями, но и песнями, лежанка лени на чердаке мечтаний, книжные ларьки у Сены, охраняющий голубой крестик и улетающее голубое Успенье-на-могильцах, знакомые родные глаза, которых уже никогда не увижу, вознагражденное липовым чаем получасовое ожидание казни каждого десятого, какая-то муха на какой-то спичке, глупый упрямец под своим зонтиком терпения, опадающие с березы денежки, осенние утопии, вирши и враки — все, что было, чего уже не будет, но раз и навсегда есть в короткой моей памяти и еще где-то.

Такой благодарственный перечень я составил позднее — в третий день моего Страшного Суда, когда блаженно таял от недоедания за колючей проволокой, с простреленной ногой.

POST SCRIPTUM

Простая мысль: не сапоги делают сапожника, а сапожник тачает сапоги, и, следовательно, кто-то сотворил мир, который не мог сам себя сделать — сделаться. Но и это доказательство бытия Божия еще ничего не доказывает и не дает веры в Бога, как и все прочие богословские аргументы и апологии.

Все-таки Бог есть, и нет не только времени, нет и смерти, но доказать тут ничего нельзя, да и нужно ли? Последние вещи человека постигаются неподдающимся определению знанием.

Я знаю, не зная, откуда знаю, — радости живут и дышат вечно.

Все увлечения — коровами, грибами, географией, поэзией, как и более занимательные игры прочих фантазеров, детей или взрослых — уже звонят во все колокола за каждым углом слуха и зрения, звонят там, где немеют страдания, где слепнут страхи.

Земля кончится: здесь геология совпадает с религией. Солнце потухнет, говорят ученые. Будет Страшный Суд, говорят верующие. А Земной — мы уже пережили и забыли...

По горизонтали истории земли и человечества — свет впереди не брезжит. Свет сияет по вертикали, хотя это только образное выражение: человеку больше открывается, когда он задирает голову!

Свет — *за, из-за* любой точки радости.

Радость: полное бытие, могли бы сказать философы. Радость — когда тебе наплевать и на время, и на смерть.

Апокалипсис обещает Новый Иерусалим, украшен-

ный, как невеста, и сходящий с небес, и тогда-то *смерти не будет уже.*

Кто построил Новый Град? Об этом Иоанн умалчивает.

Мы, сами того не ведая, воздвигли эти стены из ясписа, сапфира, халкидона, смарагда, сардоника, сердолика, хризолифа, вирилла, топаза, хрисопраса, гиацинта, аметиста, жемчуга, золота.

Некрасивая носатая француженка на улице Сены. Под мышкой острый локоток батона и — улыбается, предвкушая, как хрустнет хлеб под пальцами, и вот уже крохотный топазик блеснет в стене Нового Иерусалима.

„Недолго барахталась старушка в злодейских опытных руках!" — воскликнул печерский псаломщик Сысоич. Сразу — *опрокидонт*, и под обмытым водочкой язычком тоже хрустнуло — не батон, а малосольный огурчик, и — выбирайте — что блеснет, не жемчужина ли?

Все батоны, огурцы, горячительные напитки, все футболы, шахматы, лирические стихи будут *там*, за углом дома, кабака, стадиона — невыразимо-несравненно прекраснее-упоительнее. На то и ангелы чистые, прозрачные, но лишенные воображения ангелы: они-то и очистят каждую земную радость, преобразят синий карандашик вдохновения в сапфир, и в конце концов земных щедрый Хозяин подарит нам — нами же воздвигнутый и силами небесными от всего лишнего освобожденный, радугой сияющий Новый Град.

Как просто и как глупо! Стоило ли огород городить? Создавать мир из ничего...

На месте Бога я сказал бы: стоило!

И отрет Бог всякую слезу с очей их, — возвещает Иоанн.

А зачем все-таки пришлось эти слезы проливать? — спрашивает Иван Карамазов. Мать не может простить слезинку безвинно умученного младенца. А если младенец простит?

Не было бы слез, не было бы и свободного воображения согрешившего человека. Не было бы и Спасителя, не было бы и нашего Нового Иерусалима. Это расплата и плата за радость срывания запретного яблока.

Все-таки не прощаете страдания?

А радость можете простить? У француженки батон,

у псаломщика огурец, а сколько было народу уморено и перебито за нашу жизнь...

Что же, изгоним радости, запретим игры, как Савонарола, Кальвин.

Сойдем с ума, как Иван, застрелимся, как Кириллов!

Горько плачет непрощенная, непрощаемая радость.

Сиэтл, 1968

Дмитрий БОБЫШЕВ

МУЗА ИВАСКА

По существу, вся его жизнь – это повесть о стихах.

Я имею в виду не только его собственные, выбормоченные, возможно, в экстатическом самозабвении, а затем после здравого пере-перечтения, после сверки с близко-критическими (так ли, нет ли?) мнениями и в конце концов опубликованные в нескольких сборниках, – истинные, подлинные...

Но и – чужие стихи, составлявшие его жизнь в неменьшей степени.

Прибавлю и написанные им сотни критических статей, теоретических и философских заметок и, возможно, тысячи произнесенных лекций и выступлений на ту же тему.

И неисчислимые тьмы его писем: поэтам и о поэзии...

И – уже никак не представимый поток мыслей по этому насущнейшему поводу, занимавшему все его существование.

Мне выпала удача и, одновременно, удовольствие сначала переписываться с Иваском, а затем созваниваться, встречаться, видеться и вести беседы с ним о, конечно же, самом главном и общем нашем интересе: стихотворчестве. Редкое наслаждение этих разговоров состояло еще и в том, что слух его был равно открыт и своей, и чужой Музе, что, согласимся, весьма необыкновенно в литературном быту...

Некоторые из оброненных им идей о поэзии я и хочу здесь рассмотреть, сознательно придавая краткому очерку дух и вид триединства, которое, верю: созвучно его сути.

ПОЭЗИЯ: ИГРА

Такая игра – священна, хотя это не значит, что поэт – непременно священник или святой, – вовсе нет.

Или что какой-нибудь игрок-затейник, словесный балагур – это приближенное к Престолам и Силам существо...

Но идея игры как священной радости (преизбытка жизни) была не только близка, а и постоянно осуществляема Иваском, чему порукой – главная его поэма „Играющий человек" или "Homo Ludens".

Кажется, ему интересно было сопоставление „Играющего человека" со средневековой латинской поэмой о „Жонглере Божьей Матери" – скоморохе и гимнасте, который выражал свои хвалы и моления языком низким, присущим его ремеслу, а именно – скачками и гримасами...

Но в своей поэме Иваск исходил из другого, любимого им образа св. Луиджи Гонзаго: юноши, вечно играющего в мяч! И в этом он совместил две, казалось бы, противоположные идеи: игры и святости...

Святость для Иваска не столько потолок духовности, сколько процесс: евангелический, направленный ко спасению, и не обязательно себя, но – кого-нибудь, кого-то еще, всех...

Следуя Данту, Донну, Державину,
Человек я, с горя резво играющий...
...Славлю речью, родной, Мастера Господа...

Об этом его „Памятник".

Да, так: следуя той же горацие-ломоносово-державино-пушкинской традиции, Иваск создает и свой собственный памятник, что, несомненно, является (да и во всех упомянутых случаях являлось) поэтической дерзостью.

Однако дерзость – входит в условия священной игры...

Ведь и царь Давид (еще один излюбленный образ Иваска) дерзновенно плясал перед ковчегом Завета – в самозабвении, с невольным даже обнажением уд. Этим танцем он сотворял *райское,* а священная игра обретала таким образом свой выигрыш и цель.

ПОЭЗИЯ: РАЙ

Рай по Иваску – это не посмертная компенсация за неудавшуюся жизнь, а сиюминутная, сотворяемая в сотрудничестве Бога и человека вечность.

Вслед за В. В. Розановым он вносил в это понятие элементы земных радостей, впрочем, совершенно невинных. Он верил, что всё, в преображенном виде, спасется, и Ад опустеет. Но и в Раю должна быть „далекая долина Плача", то есть сожаления по земной жизни, а иначе в блаженной беспамятности заключалась бы некая „измена Земле".

В таком представлении „играющий человек" становится еще и *трудящимся* в бердяевском смысле этого слова, то есть вольно сотрудничающим с Творцом.

Эта мысль выразилась в образах его поздней поэзии, особенно в стихотворениях о блаженной Ксении Петербуржской.

Чудна́я-чу́дная несла кирпичики
И строила неведомое нам.

Именно в ней, нашей трогательной и комической пророчице, заступнице горожан-петербуржцев, совпала воедино *игровая* и *трудовая* хвала Творцу. Тут уместно вспомнить, что „Хвала" – это также и название одного из сборников Иваска.

Такие сопоставления ни в коей мере не случайны, и мы смело можем домыслить, что Иваск видел в поэзии одну из возможностей Рае-творчества, то есть *о-раивания* жизни. Абсолютный пример тому для родной культуры он находил а солнечном, ангельском Мандельштаме, которого приравнивал к Пушкину. А в мировой литературе это был, конечно, Данте; в особенности – его „Рай", где даже трава смеется от божественной радости.

Однако в своей позиции Ю. Иваск развивал иные контрасты, которые формулировал как принципы *нео-барокко*.

ПОЭЗИЯ: БАРОККО

За основу эстетики провозглашенной им школы (или – учения?) Иваск взял формулу адмирала А. А. Шишкова, лингвиста, главы „Беседы любителей русской словесности", той самой „Беседы", над которой в начале XIX века потешались Жуковский и Пушкин. И в этом выборе – еще один смелый жест Иваска – принять сторону ретрограда, осмеиваемого бойкими современниками. Но вот ведь: сама Марина Цветаева, бесстрашнейшая поэтесса, одобряла этот принцип!

А формула заключалась в эстетическом рецепте, по которому церковно-славянизмы должны в стихах „приятно обниматься" с русским просторечием.

Практически в поэзии Иваска это выглядело заостренной светотенью, контрастными лексическими перепадами, будоражащими воображение, как, например, в этом его стихе о Мексике:

Запах розы, мочи и вечности...

Первое – красиво, но банально, второе – отвратительно, а третье все примиряет и всему дает иной смысл, другую глубину пространства...

Фонетически идеи нео-барокко должны выражаться, в так называемых, глоссолалиях (ангельском языке хлыстовских радений), то есть во вдохновенных восклицаниях и междометиях. Этим сильным средством Иваск, впрочем, пользовался умеренно, предпочитая ему иного рода контрастные столкновения: гиаты (якобы неблагозвучные скопления гласных) или спондеи (сталкивания ударений).

Стих начинал умышленно бурлить, хромать, свистеть – вести себя вызывающе.

А Хромоножка – Золушка – Психея?
Её ой-ёи и её ау!

И это – не комикование, но судорога гармонического юродства, намеренная, так сказать, фистула в звуке...

Если хотите, суворовское *ку-ка-реку!*

В определенном контексте такой прием звучит очень мощно, иногда – смешновато, а подчас – то и другое вместе... Но ведь это и требуется. Контрасты патетического и комического и составляют эстетику нео-барокко!

Иными словами, нео-барокко – это глыбистое, раззолоченно-грубое, башенное, воспринятое при том изощренно и тонко... Это – Державин, прочитанный в XX веке. Или – Смольный собор Бартоломео Растрелли на Неве, наискосок от судоремонтного завода.

Это какой-то, действительно, САНКТ-Петербург, строящийся одновременно и сейчас, и в вечности, – куда блаженная Ксения подносит свои кирпичики...

И где как-то присутствует, тоже строючи-играючи свои стихи, Юрий Иваск... Удаляется, смешноватый; по Ксениным словам – „квелый"...

Странствующий рыцарь поэзии.

Ноябрь 1986,
Урбана, Иллинойс

СОДЕРЖАНИЕ

Крым 5
Жучки 10
Суханово 16
Криуколенный 25
Пречистенский 34
Похороны 40
Кере́таро 45
Красавицы 50
Флёровская 54
Холодно-голодно 62
Новое место 70
У Финского залива 76
Еще раз у Финского залива 82
Юриспруденция 90
Чудаки 96
Печёры 102
Трагедия удачи 119
На Западе 124
Нашествия 133
Post scriptum 140
Дм. Б о б ы ш е в. Муза Иваска 143

Iurii Ivask
Povest' o stikhakh
Printed in USA.



Юрий Павлович Иваск (1907—1986) — поэт, критик, философ, родился в Москве; в 20-е и 30-е годы жил в Эстонии, окончил юридический факультет Тартусского университета. После Второй мировой войны учился в Гамбургском университете, с 1949 года жил в США, преподавал русскую литературу в ряде американских университетов. Выпустил книги стихов «Северный берег» (1938), «Царская осень» (1953), «Хвала» (1967), «Золушка» (1970), «Завоевание Мексики» (1984), поэтическую антологию русского Зарубежья «На Западе» (1953), монографию «Константин Леонтьев» (1974); его стихи, эссе и воспоминания широко публиковались в зарубежной русской печати. В последние годы особое внимание вызвала его серия очерков «Похвала Российской поэзии», печатавшаяся в «Новом журнале».

0-89830-102-5